

516871

Николай Верёвочкин



РЕВОГРАД



Николай Верёвочкин



Повести, рассказы

Рисунки автора



АЛМАТЫ • БАЛАУСА • 1994

516871

Веревошкин Н.

В 26 Древоград: Повести, рассказы: Для средн. шк. возр. — Алматы: Балауса, 1994. — 192 с.

ISBN 5—7063—0246—4

Есть мальчишки лесные, озёрные, степные. Все они по-своему интересны. Но в этой книге, в основном, рассказывается о речных мальчишках, ишимских. Это мир невероятных приключений, захватывающих тайн, удивительных открытий. Видели ли вы, скажем, мамонта на водопое?

В этой книге — сказки, рассказы, повести. Но между ними нет непреодолимой грани. Здесь можно встретить лето в снеговой пещере. И это не фантастика. В конце концов чудеса находят простое объяснение.

В 4803010201—027 37—94
411(05)—94

ББК 84Р7—44

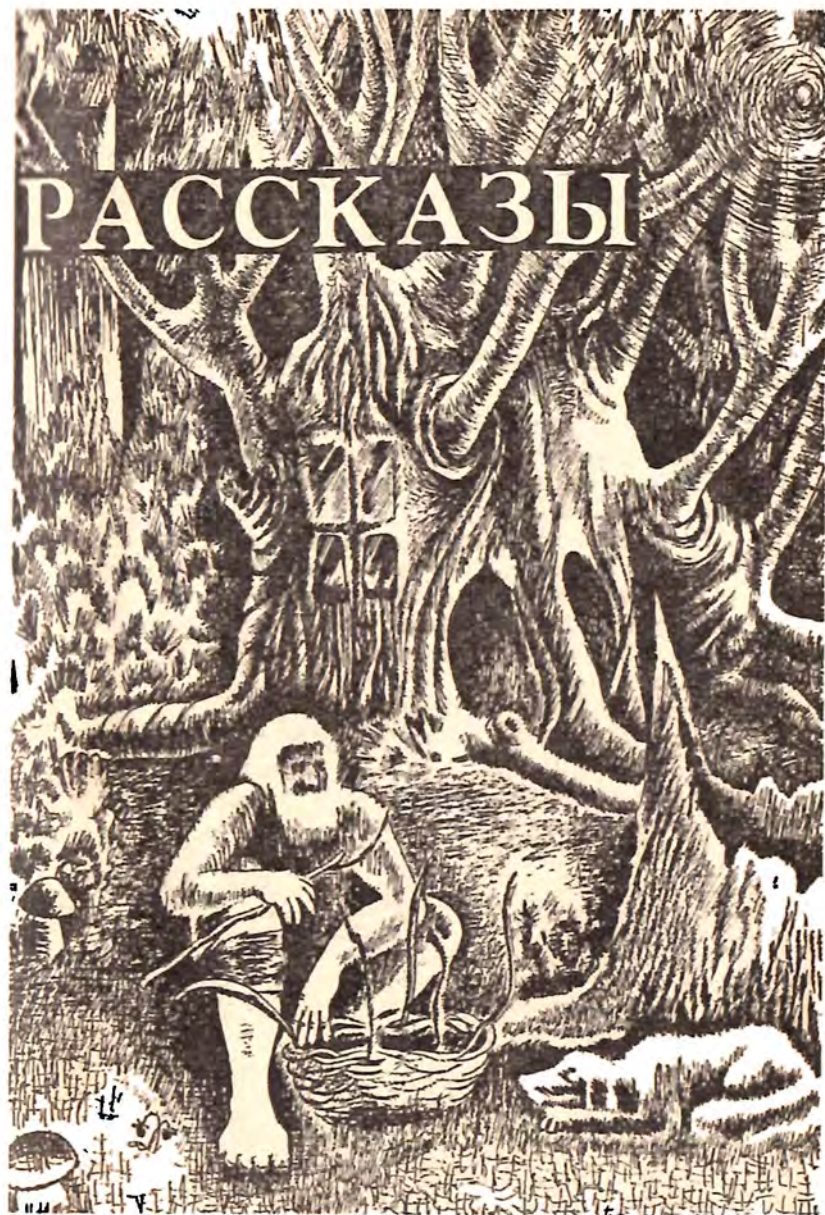
ISBN 5—7063—0246—4

©Веревошкин Н., 1994

©Веревошкин Н., худож. оформление, 1994

©Кожабаяв Е., обложка, 1994

РАССКАЗЫ



СЛОВО К ВЗРОСЛЫМ

Мы, взрослые,— странные люди. Это мы делим плавное течение времени на плохое, которое прошло и на хорошее, которое наступает, а людей — на наших и не наших.

У детей всех времен и народов одна эпоха — детство. И если они порой играют в войну — это не потому, что они плохие. Просто подражают нам, взрослым. И, подражая, становятся-таки большими и мудрыми. Одинаковыми, как камни, обкатанные в горной реке.

Уважаемые взрослые, в этой книге ваш ребенок раз-другой встретит такие странные и непонятные слова, как «пионервожатая» и «тимуровец». Разъясните ему, что это просто реалии времени, реалии нашего с вами ушедшего детства..

А В Т О Р



Нарисуй мне золотое сердце

Мой дом стоит на опушке дремучего леса. Когда выпадает снег, по вечерам вокруг дома кружатся в вальсе метели и мне одиноко и грустно. Обычно в такие часы я нахожу в старом книжном шкафу белые листы бумаги, пачку цветных карандашей и рисую смешных человечков.

Я нарисовал голубые глаза с маленькими солнышками в зрачках, длинные робкие реснички, мягкие волосы, пухлые губы, маленькие уши, прямой носик, воздушное платьице, легкие башмачки. Девочка улыбнулась мне.

— Кто ты?— спросил я.

— Ведьма.

Я рассердился: ну, разве можно так наговаривать на себя! А Ведьма, усевшись на желтый карандаш, словно на бревнышко, принялась разглядывать ледяные узоры окна, за которым пела вьюга.

Ведьме было скучно одной и, чтобы развеселить ее, я нарисовал пузатого человечка с большим носом-огурцом, маленькими глазками, лохматой копной волос, маленькими ручками, коротенькими ножками в громадных ботинках.

— Эй, ты,— указал он на меня пальцем,— сию секунду нарисуй мне корону! Да со стула встань: ослеп, что ли?

Я нарисовал кастрюлю, которую он с важностью напялил на голову, после чего (тщеславный карапуз!) уселся на спичечный коробок, воображая его трон.

Я нарисовал лысого человечка.

Он наморщил лоб, скрестил на груди руки и начал вышагивать с одного конца стола на другой. Я поинтересовался, как его зовут, но он недовольно забурчал: «Не мешай! Видишь — я думаю».

Наверное, это мудрец.

Между тем, вьюга утихла, светлый месяц окрасил серебром морозные узоры, и началась сказка.

Далеко-далеко, кажется, даже на другой планете жила-была Ведьма. Ее домик с голубыми окнами стоял на горе, которая возвышалась среди дремучего леса, так что с крыльца были видны лишь вершины деревьев.

Жила она одна-одинешенька, если не считать рыжего ленивого кота. Он знал много сказок, но мурлыкал всегда одно и то же.

От восхода до заката чистенький дом освещало солнышко. Ведьма любила разговаривать с ним. Она доверяла солнышку свои тайны и мысли. Каждое утро она выбегала на крыльцо и говорила:

— Здравствуй, солнышко! Ты сегодня хорошо выглядишь. Как спалось тебе?

И солнце золотыми лучами гладило белокурую головку девочки.

На закате Ведьма прощалась:

— До свидания! Я буду ждать завтра. Я хочу, чтобы ты приснилось мне в эту ночь.

Больше всего на свете Ведьма любила слепые дожди. Ей казалось, что сверкающие струи льются не из туч, а из самого солнца. В такие дни кот мурлыкал с особенным вдохновением и становился похожим на безмятежное солнышко, и Ведьма была счастлива.

Эта Ведьма отличалась от всех ведьм тем, что была добра и красива. Но планету, на которой она жила, населяли толстенькие карапузики с большими красными носами, ма-

ленькими глазками, буйной шевелюрой и крошечными лбами. Понятно, что к красоте они подходили со своими мерками. Когда среди них родилась девочка, столь не похожая на остальных обитателей планеты, они единодушно признали ее уродом, решили, что она ведьма, и изгнали из своего общества.

Если бы вы знали, что это было за общество, то не особенно бы расстроились на месте девочки.

Все эти коротышки были ужасные подхалимы, трусы и лентяи. Большую часть своей жизни они спали. Многие из них обленились до того, что дни напролет с раскрытыми ртами лежали под яблонями, ожидая, когда с веток начнут падать сладкие плоды. Иногда яблоки стучались об их твердые лбы, но никаких гениальных мыслей от этого не рождалось.

Они закрывали на замки не только двери, но и ставни, форточки и даже печные трубы. А как только начиналась гроза, коротышки все до одного прятались под кровати.

На этой планете паукам было раздолье, они все оплели своей паутиной. А местные модницы считали за особое щегольство носить платья с кружевами из паутины.

Днем и ночью над планетой стоял мощный, здоровый храп.

Жил на этой планете и король. Он сочетал в себе все черты своего народа и очень гордился, что был самым толстым, самым меньшелобым и самым ленивым на планете. Впрочем, что тут долго говорить — король, и этим все сказано.

За свою долгую скучную жизнь этот король издал всего два закона. Первый гласил, что всех художников, поэтов, музыкантов нужно в обязательном порядке прогонять в самые глухие уголки планеты, дабы перечисленные производители шума не мешали спать остальному населению. Второй закон гласил: «Отныне считать искусством лишь скульптуры, изображающие короля, эти скульптуры надлежит расставить по всей планете. Считать лучшими те, которые больше в объеме».

Рядом с дворцом короля росла старая осина, в дупле которой жил мудрец Золотая Голова, Длинные Уши, Мастер На Все Руки. Он постоянно что-то изобретал, о чем-то размышлял, что-то чертил. Мудрец был так увлечен научной работой, что путал день с ночью, а кисель с второстепенными членами предложения.

И вот однажды засоня-король вызывает мудреца к себе в спальню и говорит, время от времени задремывая, что ему до невозможной степени мешает солнце. Только его королевское величество засобирается поживать, как оно начинает сверкать своими не деликатными лучами. А какой

кошмар эти солнечные зайцы! Короче, король изъявляет желание: солнце должно светить лишь в тех случаях, когда этого хочет он.

Мудрец Золотая Голова, Длинные Уши и прочее, и прочее вскарабкивается к себе в дупло и думает день, думает два. Он так напряженно мыслит, что голова его гудит, словно пчелиный улей.

На третий день по наущению короля планеты лентяев и балбесов на свет божий появляется чудовишный проект, который создает и осуществляет Золотая Голова, Длинные Уши, Мастер На Все Руки. Строится высокая лестница, для сколачивания которой были срублены почти все деревья на планете. По этой лестнице взбирается мудрец и... приколачивает солнце гвоздями к небу. Затем он соединяет солнце электрической проводкой со спальней короля и прибавляет выключатель к спинке королевской кровати.

Король больше всего на свете любил спать. А так как солнце будило его, то и горело оно теперь каких-нибудь три часа в день, освещая завтрак, обед и ужин короля.

Самый толстый коротышка на планете обращался с солнцем, как с настольной лампой: короли — народ очень хулиганистый. От скуки король часто баловался — шелк да шелк выключателем, шелк да шелк... Солнце то загорится, то погаснет. То ночь, то день. Совы глаза себе попортили.

А население ленивой планеты даже и не заметило странных фокусов с солнцем. Население дрыхло изо всех сил. Мудрец Золотая Голова, Длинные Уши и прочее, и прочее создал много чудесных машин, которые выращивали урожай, пекли пироги и пели колыбельные песни. «В этой жизни, — говорили, переворачиваясь на другой бок, ленивые балбесы, — только и есть удовольствия, что поесть да поспать».

И только голубоглазая Ведьма была огорчена странным происшествием с солнцем. Она плакала над своими цветами, которые, так и не раскрыв свои лепестки утренним лучам, увядали, она тосковала по радостным восходам и грустным закатам. А солнце ярко, как электрическая лампочка, вспыхивало на несколько часов в день и так же внезапно гасло. Кот совсем одичал. Он уже не мурлыкал, он круглосуточно ловил мышей, а глаза его горели сердито и алчно.

Трудно быть одной-одинешенькой, а если при этом почти совсем не видеть солнца, то жизнь становится просто невыносимой.

Девочка сидела перед бледной свечкой и плакала. А что ей оставалось делать?

«Что делать, что делать?» — в замешательстве шептал я и в это же время непроизвольно рисовал человечка: носик, ротик, оборотик...

— Как это что делать? Нужно немедленно выручить ее! — услышал я вдруг тоненький, но решительный голос. От неожиданности я вздрогнул и огляделся.

— Это я — странствующий рыцарь — говорю тебе это, — указал на себя тоненькой ручкой Носикротикоборотик.

Пусть не дадут мне солгать знакомые, я человек сдержанный, но, каюсь, в этот момент не смог сдержать улыбки.

— Немедленно нарисуй мне ракету, — сказал странствующий рыцарь, вышагивая по белому листу бумаги с заложенными за спину руками.

Странствующему рыцарю, подумал я, больше подошел бы конь. Впрочем, времена меняются — рыцари остаются.

Носикротикоборотик обошел вокруг новенькой, только что с кончика карандаша, ракеты. Ею он остался доволен, но озабоченность не покидала человечка. Для трудного путешествия ему нужно было набрать экипаж. Трудность заключалась в том, что друзьями-то он еще не успел обзавестись. А ведь если у тебя нет надежных товарищей, много ли ты строишь со своей красивой ракетой.

Растерянным взглядом командир корабля обвел мою комнату и на подзеркальнике увидел маленький портрет седовласого человека. «Кто это?» — одним выражением восхищенного лица спросил Носикротикоборотик.

— Великий композитор, — объяснил я и включил магнитофон. Занесенный снегом домик в несколько секунд превратился в сказочный дворец. А на оконной раме, сделанной из старого высохшего березового бруска, вдруг выступил весенний сок. Хрупкие коричневые веточки проросли из нее и набухли зелеными почками. Странствующий рыцарь, скрестив руки на груди, внимательно слушал музыку, а когда прозвучали последние аккорды, сказал:

— Нарисуй этого музыканта. Я хочу взять его в свой экипаж.

Носикротикоборотик горячо и долго тряс руку музыканта, не дожидаясь пока я дорисую новому члену экипажа ноги и голову.

Следующим членом экипажа стал мой любимый живописец, картины которого пришлось по душе странствующему рыцарю.

Я нарисовал художника и, покраснев до ушей, попросил извинение за столь непрофессиональное изображение.

— Ну что вы!— взглянув в зеркало, воскликнул мой кумир.— В вашем исполнении я выгляжу намного лучше натуры.

Я знал, что при жизни мой любимый художник отличался большим чувством такта и тонким юмором.

— Мне нравятся глаза этого человека,— произнес Носикротикоборотик, вглядываясь в третий портрет.

— Этот человек смертный,— сказал музыкант торжественно и тихо,— но он написал поэму, которая будет жить, пока живут люди. Если бы в детстве я не читал ее, не было бы моих симфоний...

— ...и моих полотен,— с учтивой улыбкой добавил художник.

И я нарисовал поэта.

Экипаж попрощался со мной и, не теряя времени, отправился в беспрецедентный в истории сказок полет — выручать из беды голубоглазую Ведьму.

Король Балбесии лежал на пуховых перинах, зевал и от нечего делать играл выключателем солнца.

Мудрец Длинные Уши, На Все Руки Мастер сидел в своем дупле и ему очень не нравилось поведение короля Во-первых, потому что мигающее солнце мешало думать, во-вторых, мудрец опасался за светило: могло произойти короткое замыкание...

И только успел Длинные Уши подумать об этом, как в ту же секунду небо ослепительно засияло, раздался треск — и осколки лопнувшего солнца полетели в разные стороны гаснуть на дне морей, высушать озера, поджигать леса.

— Доигрался!— высываясь из дупла, пробурчал мудрец, и его лысина покрылась румянцем негодования.

Но кто превратил солнце в настольную лампу балбеса?

Это он, мудрейший на планете человек, осуществил величайшую по своим масштабам и глупейшую по содержанию идею. Он один виноват за вечную ночь, наступившую на планете, и вечный холод, который идет следом, чтобы покрыть все прозрачным льдом.

Горели леса, густой пар поднимался к небу с поверхности быстро мелеющих озер и рек. Балбесия проснулась в печали. Даже самые дремучие засоны затосковали по солнцу.

Голубоглазая Ведьма осталась совсем одна. Кот, как только перегорело солнце, окончательно одичал и удрал в лес. Слабый звездный свет струился сквозь синие окна и отражался в голубых слезинках девочки. «Я больше никогда

не увижу солнышко,— всхлипывая, шептала она.— Разве только что во сне...»

Несколько минут мудрец сосредоточенно размышлял над созданным положением, затем сделал из своих подтяжек петлю и стал привязывать ее к суку на осине.

Но в это время в черном небе засветилась золотистая точка.

Странствующий рыцарь Носикротикоборотик посадил космический корабль прямо у осины мудреца за несколько секунд до несчастного случая. Увидев круглого, как шар, человечка, мудрец забыл о своем намерении. Длинные уши его побледили от восторга: на планету прибалбесились представители незнакомой цивилизации.

— Кажется, мы немножко опоздали,— сказал музыкант. Мудрец вспомнил о своей вине и просунул голову в петлю.

— Извините, если мы на секунду оторвем вас от дела. Не могли бы вы рассказать нам, что здесь произошло,— осветив отчаявшегося мудреца фонариком, вежливо проговорил художник.

Несчастный покаянным голосом рассказал о деле рук своих, о последних секундах светила. Экипаж погрузился и хором вздохнул, а поэт, покачив головой, сказал:

— Солнце не выносит плоских шуток.

— Куда же вы?— остановил вновь сунувшего голову в петлю мудреца художник. — При желании можно реставрировать даже безнадежно испорченные картины.

— В этом есть мысль,— пробормотал Длинные Уши, На Все Руки Мастер и тут же принялся размышлять, как вернуть солнце на небо.

Голубоглазая девочка, держа в обожженных пальцах кушечек светящегося солнца, подошла к ракете.

— Ой,— сказала она, прикоснувшись к золотистой ракете,— я думала, что это от солнышка.

Лучи маленького солнышка в ладонях девочки освещали ее легкое платьице, печальное лицо, серебрились в мягких волосах.

Поэт сказал: «Ах!»— и голова его закружилась от вихря рифм.

Музыкант мысленно представил нотную тетрадь. Ноты запрыгали по линейкам, как кузнечики.

Художник, забыв обо всем, принялся торопливо набрасывать портрет девочки.

А круглый Носикротикоборотик почему-то покраснел и стал похожим на созревший помидор. Таким странным образом подействовала на него красота голубоглазой Ведьмы.

И только мудрец Длинные Уши, привыкший в любом случае мыслить логично, спросил:

— Для чего тебе кусочек солнца? Ты обожгла пальцы и можешь испортить глаза.

— Я хочу собрать то, что осталось от солнышка, склеить и вернуть на небо, — ответила девочка.

— Напрасно, — вздохнул мудрец, — даже электрическая лампочка перегорает только один раз. Если потухло солнце — это навсегда. Скоро и этот кусочек остынет.

И действительно: маленькое солнышко в руках голубоглазой Ведьмы стало тускнеть.

Но что это я заладил — Ведьма да Ведьма. Зачем повторять сто раз то, что однажды сказал глупый человек?

Носикротикоборотик заглянул в мою рукопись тихо и укоризненно сказал: «Она — Золотинка». Я покраснел.

А между тем кусочек солнца в руках Золотинки перестал светиться и почернел. Солнышко умерло в ладонях девочки.

Что делать? Что делать?

Все герои этой сказки, кроме короля, который, боясь справедливого наказания, укрылся под кроватью, посмотрели в мою сторону. Я растерянно пожал плечами.

— А нужно ли этой планете свое солнце, если ее обитатели только и делают, что спят? — печально спросил музыкант.

— Спать можно и без солнца, — заметил художник.

— Если на планете есть хотя бы один хороший человек, — сказал поэт, — солнце должно светить каждый день.

Началась вечная ночь. С каждой минутой становилось все холоднее, король трясся от страха, его подданные от гнева.

И вот, когда все потеряли надежду, а мудрец вновь вспомнил свои подтяжки, Носикротикоборотик попросил художника:

— Нарисуй мне золотое сердце.

— Зачем? — удивились все.

— Чтобы оно светило.

— То, что светится, — пробубнил из глубины дупла мудрец, — обычно горячо. Люди с золотыми сердцами, как правило, быстро сгорают.

— Подумаешь, — весело ответил странствующий рыцарь, — мир не изменится, если сгорит один человек, тем более нарисованный. Самое главное, чтобы при этом кому-то было тепло.

Никогда еще художник не рисовал с таким вдохновением. Самые яркие краски смешал он на своей палитре.

— Смотрите, смотрите, — зашептали вокруг, когда художник кончил работу, — как этот маленький смешной человечек похож на солнце!

Еще бы! Ведь художник не знал, как выглядит золотое сердце, он просто рисовал по памяти солнце.

Я подрисовал лучики и надел черные очки, потому что смотреть на человечка было больно — до того ярко светило его золотое сердце.

— Теперь, когда у нас есть солнце, — вылезая из дупла, пробубнил мудрец, — поднять его на небо — чисто техническая задача.

— Но только, пожалуйста, — попросил его Носикротик оборотик, — не соединяйте мое сердце с выключателем.

Мудрец смутился, опустил глаза и пробормотал: «Ну что вы...»

Золотинка любила разговаривать с солнышком. Она доверяла ему свои тайны и мысли.

Каждое утро она выбегала на крыльцо и говорила:

— Здравствуй, солнышко! Ты сегодня хорошо выглядишь. Как спалось тебе?

И солнце золотыми лучами гладило белокурую голову девочки.

На закате Золотинка прощалась:

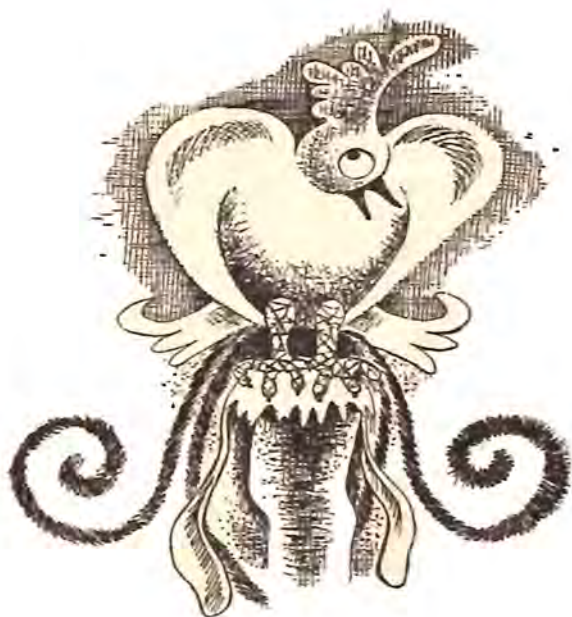
— До свидания! Я буду ждать тебя завтра. Я хочу, чтобы ты приснилось мне во сне.

Больше всего на свете Золотинка любила слепой дождь. Ей казалось, что сверкающие струи тянутся не из туч, а из самого солнца.

Художник, поэт и музыкант остались жить на этой планете. Они-то уж объяснят ее жителям, как это прекрасно: каждый день идти на любимую работу навстречу поднимающемуся солнцу.

А что касается короля, так он до сих пор не вылезает из-под своей кровати: там темно и никто не мешает спать.

..Я вытер платочком глаза и сложил карандаши в коробку. За ледяными стеклами снова плакала вьюга. Но в моей коробке лежало еще много сказок. Ровно столько сколько печальных вечеров у зимы.



Птица

Птица прилетела утром на крыльях цвета зари, цвета мякоти созревшего арбуза. Она села на колышек ограды, едва выглядывающий из большого бело-синего сугроба, и, поглядывая на окна, стала чистить клювом свои необычные перья.

Те из больных, кто мог самостоятельно ходить по палате, приикли к окнам, боясь резким движением спугнуть таинственную незнакомку. Это была не просто птица. Это была Птица из сказки, которая словно только что вылетела из рук Иванушки, оставив его с открытым от изумления ртом.

Мальчуган приплюснул нос к холодному стеклу, в его серых глазах запылали две розовые птицы. Он изумленно рассказывал о чудесном оперении и повадках птицы, и ему вторила пожилая нянечка.

Безнадежный больной, старик с волосами белыми, как стерильные бинты, с потухшими глазами, прислушивался к лепету мальчугана. И когда тот восхищенно крикнул:

«Смотрите, ест снег!» — старику вдруг захотелось жить. Его изношенное сердце по-молодому вздрогнуло.

А птица вспорхнула и полетела к школе.

В классе шел скучный урок литературы. Учительница с серыми, словно застиранными волосами, скрученными в старомодную «дульку», и строгими глазами нараспев выговаривала губами, похожими на засушенные яблоки для компота: «Рассмотрим образ такого-то... а теперь рассмотрим образ такой-то...»

И вдруг на ветке треснувшей от ночного мороза березы она увидела странную, никогда не виданную птицу.

— Ах,— сказала учительница.— Что это за чудо!

Она надела очки и засемила к окну. И весь класс бросился к окнам.

— Сбегайте кто-нибудь за Всеволодом Африкановичем,— сказала учительница.

Но когда учитель биологии трусцой вбежал в класс, птица улетела.

— Должно быть, снегирь,— сказал учитель биологии.

— Уверяю вас, нет,— горячо возразила ему учительница литературы,— это такая необычная, такая чудесная, такая сказочно прекрасная птица...

А птица летала по селу от дома к дому, от окна к окну, и все, кто ее видел, удивленно замирали, пожимали плечами и как-то само собой получалось — улыбались. Они улыбались, разглядывая дома, припорошенные снегом, березы, за которыми скрывалась, улетая, птица, и думали: «Какое все-таки красивое у нас село!» И настроение у них было прекрасное.

...Птица села на стожок сена и смотрела оттуда в огород, где маленькая девочка, укутанная маминой шалью, спрятавшись за плетень, держала в руках веревочку. Веревочка тянулась к палочке, которая держала старое корытце, а под ним была насыпана горсть пшеницы. Осторожная сорока бочком, вприпрыжку приближалась к корытцу. И когда она торопливо принялась клевать зерна, девочка дернула за веревочку, и корытце прихлопнуло сороку.

Через пятнадцать минут девочка выбежала из дому и выпустила в небо сказочную птицу с крыльями, выкрашенными акварельной краской.



Лешка



и смотрел на меня одним глазом. Другой закрывало мягкое ухо. Поглощенный созерцанием моей персоны, он писал минуты две, не осознавая этого. С таким же любопытством изучал и я его, теряясь в догадках, откуда у крошечного существа берется столько воды.

Запасы влаги наконец иссякли. Щенок стоял беспомощный, вымокший, но — на что я сразу обратил внимание — не вилял хвостом.

Минуту назад я тихо барахтался под понтонным мостом. Деревянный настил прогибался, и железные баржи чуть приседали, когда над моей головой проезжали машины. На тонких перильцах висели пробковые спасательные круги, похищение одного из которых входило в разряд моих самых дерзких планов. Я тренировал легкие: погружаясь в воду, перебирал руками толстый канат, стараясь донырнуть до якоря. Канаты тянулись от барж метров на пятнадцать против течения, мне не хватало воздуха.

Я намеревался вновь подвергнуть испытанию выносливость своих легких, когда надо мной остановился человек и, перегнувшись через перила, швырнул в воду серый кулек. В таких кулках продают сахарный песок или крупу. Пухло плюхнувшись, кулек пошел ко дну. Я нырнул и перехватил его.

В кулке пульсировало сердце. Я почувствовал, как в холодной воде моя кожа покрылась потом.

Вынырнув, я ухватился левой рукой за канат, подтянулся и опустил кулек в баржу.

...Мы сидели на теплом и мокром дне баржи и разглядывали друг друга. К шерсти «утопленника» прилипли клочки серой бумаги. Все произошло быстро, поэтому кулек выполнил роль скафандра. У слабых ногах щенка боком отошел от лужицы, страхнул с себя воду, зажмурился от солнца и высунул алый, как пламя зажигалки, язык.

Глуше и глуше, превращаясь в неразборчивое шарканье, стучали по мосту каблучки несостоявшегося убийцы. Вскарабкавшись на нос баржи, я разглядел костистую спину бывшего хозяина щенка, его твердый и лысый, как валун, затылок. Левое плечо этого человека было заметно короче правого. Серый костюм свободно болтался на нем, словно был подвешен на плечиках.

Мама говорила, что собаки вызывают у нее аллергию. Я вообще затрудняюсь назвать животных, которые нравились бы ей. Достаточно было за столом произнести слово «мышь», и это на неделю лишало ее аппетита. Понятно, что знакомить с Лешкой (так теперь звался щенок) я ее не стал. Я спрятал его в стогу соломы, торопливо пообедал и принес ему молока. Специальной посуды не нашлось, и я напоил щенка из кружки. Бедная мама, если бы она знала...

Золотые соломинки запутались в высохшей, закурчавившейся шерсти собачонки. Он безмятежно вытянулся на мягкой подстилке, положив мордочку на передние лапы, в карих глазах его светились любопытники. Я не знал, кто он: дворняжка, сеттер или овчарка. Мне было все равно. Мы просто понравились друг другу.

Когда я понес кружку, Лешка увязался за мной. Он совал свой любопытный нос во все углы, как покупатель, присматривающийся к ценам на людном базаре.

Вдруг за штакетниковой оградой раздался боевой визг

и яростное шипение. Драная-передраная одноглазая кошка с видом существа, смертельно оскорбленного Лешкиным присутствием в этом мире, желтой молнией бросилась наперерез нам. И столько было искреннего гнева и бандитской злобы в этом маленьком звереныше, что меня на секунду парализовал страх. Фашиствующая киска скалила желтые клыки и с ненавистью била Лешку когтистыми лапами. Присев на корточки, я принялся сражаться с агрессором. Хулиганка словно не замечала меня. Ну хоть бы капля уважения: все-таки я человек!

Когда я поднял щенка на исцарапанные руки, кошка трижды упруго и высоко подпрыгнула, сопровождая дикий танец шипением и демонстрацией когтей. Она умчалась за ограду и неотрывно следила за нами горящим глазом, выгнув спину и кровожадно урча.

Вечером я протащил щенка за пазухой в дом, устроил спать рядом с таким расчетом, чтобы головой он лег на подушку. Лешка недовольно заурчал, отполз вниз под одеяло и уткнулся носом в лапы.

Мама услышала ворчание и, открыв дверь, спросила, что со мной.

— Ты же знаешь, — ответил я не поворачиваясь, — после молока у меня всегда болит живот.

Сказав это, я совершил оплошность. У мамы кроме меня никого не было. Я рос хилым мальчишкой, и мама изучила на мне все болезни, иногда обходилась даже без помощи врачей. Она включила свет, присела на краешек койки и, положив холодную ладонь на мой живот, принялась устанавливать диагноз.

— Да ничего у меня не болит, только в животе нехорошо, словно паука проглотил, — попытался я психологическим маневром заставить ее ретироваться.

Мама жутко боялась пухов и, наверное, скоро ушла бы, но в это время Лешка встал, подняв одеяло палаткой, — и я впервые услышал его тьяканье.

Мама брезгливо подняла пухлый, глухо ворчащий ком за ухо и понесла к двери.

— Отпусти его, ему больно! — запротестовал я.

...Эту ночь мы провели с Лешкой в стогу соломы, укрывшись старой рваной телогрейкой. Утром нас разбудил сосед, чуть не проткнув вилами, когда готовил подстилку для поросят.

Лешка стал третьим членом нашей семьи.

Первое время мама соглашалась терпеть его только на цепи. Было одновременно потешно и тяжело смотреть на маленькое, скорее напоминающее котенка, чем щенка, существо, этакую чебурашку с наивными глазами, прикованную ржавой цепницей.

Что за изуверский предрассудок: держать собаку на цепи!

Маме это казалось в порядке вещей. Я сказал, что в древнем Египте в порядке вещей считалось держать на цепи рабов. Мы с Лешкой отчаянно протестовали. Я выступал с манифестами, а он объявил голодовку: лежал с тоскующей мордочкой в пыли, даже не пытаясь поднять тяжелую цепь. Иногда с ним случались приступы ярости, и он с таким усердием грыз железные звенья, что я опасался за его зубы.

На маму не действовали ни мои речи, ни Лешкина ярость. Но однажды она увидела слезы на Лешкиной мордашке. Мама не знала, что собаки могут плакать. И это на нее так подействовало, что она собственноручно освободила щенка. Справедливость восторжествовала, и до конца своих дней Лешка не знал, что такое неволя.

Шло время, и с каждым днем мы все сильнее привязывались друг к другу. Взрослел я, рос Лешка. Он становился красивым псом с широкой грудью и большой умной головой. Все чаще мама гладила его по дымчатой шерсти, полной сухого электричества. Мы с Лешкой забыли старые обиды. Мир и согласие царит в нашей небольшой семье. Но я чувствовал, что Лешке скучно в нашем тихом поселке. Он часто вздрагивал во сне. Я догадывался о его снах. Он был рожден для борьбы. Тиннственный зов тревожил его сердце.

Однажды в наш огород забрел бык.

Лешкин загривок и мышцы ног судорожно затрепетали. Он утробно зарычал и по-волчьи оскалил зубы. Бег его был столь яростным и стремительным, что казалось вот-вот он споткнется и полетит кубарем через голову. Бык струсил и неуклюже отпрянул, а Лешка, мгновенно отделившись от земли, вцепился в его загривок. Непрошенный гость взревел и тяжеловесным галопом поскакал прочь с висящим на спине Лешкой. Слепой мощный бег быка напоминал движение локомотива, сошедшего с рельсов. Сухо затрещал поваленный плетень. Я бежал следом, отчаянно призывая Лешку к милосердию.

Сквозь лаи дворняжек слышался тяжелый топот и утробные стоны объятые ужасом животного. Со скоростью, которую позволяли мне ноги и легкие, я пересек все село.

В Овражном переулке какой-то человек выскочил из сарая с вилами, которые он держал, как копье. Человек метнул вилы, целясь в Лешку, но попал в ляжку быка. От человека веяло скукой, как от старого кирзового сапога. Самой запоминающейся частью его лица была серая, потертая временем лысина.

Я уже отчаялся догнать четвероногого кавалериста, когда наконец, Лешка бросил свою жертву. Расслабленной трусцой, легко перебирая лапами, словно подбрасывая себя, он бежал мне навстречу. Был он спокоен, будто только что совершил благородный поступок.

Скорее из села, подальше от людских глаз! Мы свернули в переулок, ведущий на реку, пробежали по мосту и спрятались в каменной нише разрушенной наводнением мельницы. Куст чернотала укрыл нас от всего мира. Меня трясло от пережитого волнения так, что отдаленно я напоминал детскую погремушку.

Сквозь зеленые прутики и листья-лодочки поблескивали размытые на речной ряби солнечные пятна. Я разглядывал справедливую Лешкину морду. «Какой у меня сильный и умный пес,— нашептывало самолюбие,— достаточно сказать ему «фас», и он разорвет в клочья любого врага». Я положил голову на Лешкину спину, смотрел на одинокого комара, кружившегося над нами крошечным бомбардировщиком, а думал о человеке с вилами. Комариный звон наполнил мое тело, и я забылся в тревожном полусне.

Возвращаясь с реки, мы повстречали человека. Был он белобрыс, как одуванчик, и весь перемазан земляничным соком. Голубоглазый сосед Васька совершал свое первое самостоятельное путешествие по земному шару. По всему было видно, что человек безнадежно заблудился и это обстоятельство его явно огорчало: сладкий земляничный румянец на его щеках основательно размыли соленые ручьи. Заметив нас, он в нерешительности остановился и, стеснительно ковыряя пальцем в носу, поджидал. Когда мы поравнялись, Васька осоловело и очарованно уставился в Лешкины глаза, которые находились как раз на уровне его собственных

— Куда направился?— спросил я.

— Гуляю,— туманно ответил сосед, не отрывая взгляда

от Лешкиных мудрых глаз. Лешка и Васька настолько заинтересовали друг друга, что казалось — еще немного и они обнюхаются.

Я посадил путешественника на Лешкину спину. Лешка оглянулся и с недоумением посмотрел на меня, словно укоризненно спрашивая: «Как это понимать?» В разного рода сложных ситуациях при встрече с незнакомцами он всегда вот так же молчаливо советовался со мной, безошибочно определяя, как вести себя дальше. Лешка вздохнул и безропотно довез малыша до крыльца его дома. Всю дорогу Васька, поддерживаемый мною за рубашку, счастливо сопел и завороченно разглядывал Лешкины уши.

С этого дня Васька частенько приходил в гости к Лешке. Васька присаживался на корточки и что-то рассказывал Лешке, возлежавшему в гордой позе сфинкса. Они были идеальными собеседниками. Васька без умолку лопотал. Лешка внимательно слушал.

Для друзей ничего не жалко! На очередное свидание сосед приволок любимые игрушки: деревянную машину и резиновый красно-зеленый мяч. Машину Лешка осторожно обнюхал, деликатно тронул лапой и потерял к ней интерес. От упругого мяча он был в восторге. Шумная, веселая игра оборвалась трагическим происшествием: Лешка, не соразмерив силу своих челюстей, прокусил мяч. Разумеется, сделал он это совершенно нечаянно. Васька взревел, как сирена пожарной машины. Прибежавшая по сигналу тревоги Васькина мама застала такую сцену: всхлипывающий малыш сидит на земле, прижимая к животу дряблый мяч, а Лешка-утешитель заботливо облизывает его мордашку. Женщина напустилась на Лешку. Он слушал ее с гордо поднятой головой, с достоинством взирая на расшумевшуюся соседку. В конце концов Лешке надоел этот неприязненный тон. Верхняя губа у него раздраженно приподнялась, обнажив белые клыки. Панически взвизгнув, соседка подхватила Ваську таким образом, что ноги у него оказались вверх, а голова выглядывала откуда-то из-под локтя.

— Чтобы я тебя не видела рядом с этой зверюгой, — кричала женщина, умыкая Ваську и хлопая его по мягкому месту.

На следующий день Лешка нанес визит вежливости К завалинке, на которой маленьким старикашкой сидел пригорюнившись Васька, он притащил дырявый мяч. Звонко гавкнул и убежал. Но скоро вернулся с огромной чисто обглоданной костью, которую он также положил у ног Васьки.

Васькина мама вначале всячески препятствовала встречам сына «с этой зверюгой», но, убедившись в тщетности подобной тактики, в дальнейшем использовала эту дружбу в чисто педагогических целях.

— Если ты будешь шалить, — говорила она Ваське, — я не пушу тебя играть с Лешкой.

Угроза обычно действовала, Васька переставал шалить.

Что касается меня, то, говоря откровенно, я жутко ревновал Лешку.

Рос я замкнуто, друзей у меня не было.

Всех их заменил Лешка.

Много лет спустя, когда я стал взрослым, на ум пришла нелепая на первый взгляд мысль: Лешка был не только моим другом, он был моим воспитателем. Характер человека в определенном возрасте формируется не только под влиянием тех людей, кому по долгу службы предписано его формировать. Его создают и востер, несущий соломенные стрелы, и осенние кусты колючего боярышника, обильно обрызганные кровью ягод, и светлые струи переката на маленькой реке твоего детства, и грозовые дни, полные тяжелых туч и озонной свежести, и запах полыни, и первый снег, и зимняя сказка ледяного узора на твоём окне, и дощатые заборы, и кучи мусора — все-все оставляет на восковой душе подростка свой отпечаток. Предутренним молочным туманом затягиваются со временем далекие события детства. Но чистые собачьи глаза — глаза преданного друга — я буду помнить всегда.

У Лешки был прекрасный характер. Это был гордый, спокойный пес, в каждом движении которого чувствовалась природная сила и естественность. Никогда и никому он не позволял обижать себя и своих друзей. Он обладал чувством собственного достоинства, той мудростью, которая позволяет в самых тяжелых ситуациях оставаться самим собой. Если он дрался, то всегда с противниками, равными ему по силе или сильнее его.

Мне далеко до Лешки. Но как бы там ни было, с тех пор, как мы встретились с ним, я никогда и ни перед кем не вилял хвостом.

Однажды зимней ночью я проснулся от глухого воя и скреба за дверью. Мама открыла дверь и в ужасе всплеснула руками. Из черноты сеней, в которой холодно синело окно с вмерзшей зеленой ледяной звездой, в комнату вбежал

Лешка. Он был сильно изранен, на разорванные уши налипли комья мокрого красного снега.

Лешка тихо и как-то виновато лег у печки, вздыхая и вздрагивая. Я опустился на колени и осторожно подул на его обезображенные уши. Ему было больно и страшно, но Лешка не скулил.

— Что случилось, Леха? Кто это тебя так? — тревожно спросил я. Лешка пристально и долго смотрел мне в глаза. Прикрыв веки и подняв голову, он тоскливо завыл. Я погладил его по спине, чувствуя ладонью, как часто бьется сильное сердце моего друга, и Лешка умолк.

В жаркой пасти печи яростно трещали березовые поленья. Языки пламени сливались в моих глазах. В туманном зареве возникали и исчезали в долю секунды лица огненных людей, рушились огненные города, дрались косматые огненные звери. Чем-то диким, первобытным пахло от дремавшего Лешки, от чего замирало сердце и становилось страшно и холодно.

В эту ночь мне снились синие в блестках сугробы, наметелившиеся у плетней, печальное ночное небо, словно замерзшая река со зловещей прорубью луны, и мертвый Лешка, одиноко лежащий в этой холодной тишине.

Проснувшись утром, я увидел: Снежок сидел на голове у Лешки и деловито лизал ему уши. Котенок был весь белый, словно врач в халате, а то, с каким терпением выдерживал процедуру Лешка, только усиливало сходство.

В огороде я увидел три параллельных следа, уходящих по вершине сугроба к лесу. По бокам отпечатки лап были немного больше, чем в центре. У заднего плетня снег был вытопан и обрызган кровью. От этого места в лес уходило только два следа, один из которых сопровождался редкими красными точками.

И я живо представил, как ночью, когда от мороза дрожат и тихо звенят звезды, пришли к нашему дому волки. Они схватили зубами Лешкины уши и хотели увести его с собой в лес. Но у заднего плетня, пересилив боль, Лешка выдрал уши из волчьей пасти и стал драться с лесными собратьями. Он вырвался из плена.

Так Лешка приобрел особую примету — рваные уши.

Остаток зимы он болел и лишь к весне окончательно поправился.

Когда я вспоминал нашу первую встречу, просто не верилось, что тот пушистый комочек с любопытными гла-

зами, опускающийся на дно в сером кулчке, был он — пес из гордой породы волкодавов.

Любимым нашим занятием были кроссы по более или менее пересеченной местности. Какое удовольствие: просто бежать рядом — в лес, в поле, на реку, не все ли равно куда — не быстро и не медленно пересекая овраги, береговые рощи, поднимаясь на пологие сопки. Какая радость: мчаться по этой упругой земле, не зная, куда заведут тебя незнакомые тропы, а потом свалиться куда-нибудь, где трава погуще, и не мигая смотреть в высокое небо. Можно почитать свои первые стихи, поделиться тайной. Лешка всегда внимательно выслушает меня и все сохранит в строгом секрете.

Мы с Лешкой барахтались на речном песке у Заячьего острова и не заметили, как к нам подошла девочка в ситцевом платье с рисунками шахматных фигурок.

— Здравствуйте,— нараспев сказала она.

— Здравствуйте,— немного вопросительно ответил я, разглядывая два хвоста, маленькие родинки на пухлой щеке, похожие на созвездие Большой Медведицы. Когда девочка мигала, золотистые реснички, казалось, издавали тихий мелодичный звон.

Лешка невоспитанно зевнул во всю пасть и шумно стряхнул с себя песок.

— Можно его погладить?— кивнула девочка на моего товарища.

— Спроси у него,— буркнул я.

На следующую осень я должен был идти в пятый класс, и меня обидело то, что интереснее для незнакомки был Лешка, чем я.

Лешка, к моему величайшему огорчению, позволил себя погладить.

Человек, имеющий сильную и умную собаку, как-то сразу становится значительнее и интереснее. Так подумал я с некоторой долей ревности. О Лешке ходили легенды. И все хотели познакомиться со мной, чтобы подружиться с ним.

С этого дня мы с Лешкой бежали не так часто и не так быстро. Мы малость остепенились. Что мы в самом деле, мальчишки, что ли? Теперь в наших походах принимала участие Таня.

Больше всего ей нравилось лакомиться ежевикой и загорать на ничейном пляже у Заячьего острова.

Мы лежали на горячем песке: Лешка посередине, а я и Таня по бокам, положив головы на его широкую спину.

— Почему ты назвал его Лешкой?— спросила Таня.

— В первом классе мы сидели за одной партой с одним мальчишкой. Он хорошо рисовал. Но это не главное. Мы с ним дружили.

— А где он сейчас?

— Он утонул.

Мы помолчали, и Таня спросила:

— Как его звали?

— Лешкой.

Таня долго ерошила Лешкин загривок, приговаривая:

— Хорошая собака, умная собака...

— Он никому не позволяет гладить себя, только мне и Ваське,— сказал я,— он тебя любит.

И мы все, кроме Лешки, покраснели.

С крыши нашего сарая был виден шитовой домик в степи, который незаслуженно красиво звался аэропортом. Мы с Лешкой часто бегали туда смотреть зелененькие пузатые четырехкрылые самолеты. Там-то он и влюбился по самые рваные уши в овчарку Альпу.

Вскоре Лешка стал отцом.

Мы частенько навешали Альпу. Лешка с удивлением на почтительном расстоянии разглядывал странные пискучие существа, ползающие у ног суженой. Иногда он их обнюхивал, чем-то напоминая сапера у мин незнакомой системы, вот-вот готовых взорваться.

Диспетчер аэропорта — бородатый мужик в зеленом свитере — выходил к нам навстречу, приветствовал и долго рассуждал о супружеском счастье, откровенно завидуя Лешке.

Но однажды он принял нас без обычных острот.

— Осиротели твои карапузы,— сказал он, одной рукой глядя Лешкину голову, в другой руке у него была бутылка с молоком, на горлышко которой натянута соска,— убили Альпу. Нет больше мамки. Дебилы! Убить такую собаку! Разве может быть такая красивая собака бродягой? Балбесы!

Осиротевшие карапузы с восторженным визгом бросились к Лешке, приняв его за мать. Лешка разглядывал щенят, суетившихся у его ног, с печальной и умной мордой: он все еще немного побавлялся их. Когда Лешка улегся на траву, щенята принялись тыкать влажными носами в его бок. Они очень недоумевали, расстраивались и скулили.

На крыльцо выбежала кошка, всем видом своим спрашивая: «Что тут такое происходит? В чем дело?» Она увидела Лешку, с которого, как с горки, скатывались шенята презрительно фыркнула и умчалась в дом.

Лешка старательно облизывал шершавым языком свою детвору. Водные процедуры шенятам не нравились.

— Ну, отец,— сказал бородач Лешке,— воспитывай теперь сам.

И он передал мне бутылку с молоком.

Мы вернулись домой с Лешкиными детьми

Слух о Лешкином благородстве всколыхнул весь наш большой поселок. Женщины приводили в пример своим непутевым мужьям моего друга. К нам приходили знакомые и незнакомые люди посмотреть на Лешку и поговорить о нем. Приносили молоко для шенят.

Лешка лежал со своим детсадом на охапке соломы. Вид у него был серьезный и, я бы даже сказал, суровый.

Когда любопытных собиралось слишком много, отец семейства поднимался и медленно шел на толпу, которая моментально рассеивалась, при этом кто-нибудь непременно восклицал: «Теленок да и только!» Имелся в виду Лешкин рост, а не нрав.

Лешка не любил, когда в его личную жизнь совали нос посторонние.

У Лешки всегда оставался Враг, злой и коварный.

Однажды зимой, когда Лешка был еще маленьким, кто-то облил его водой. Он прибежал домой весь обледеневший. Как-то раз Лешка попал в проволочную петлю, установленную в дыре забора. Если бы я не подоспел вовремя — он бы задохнулся.

В тот осенний день я, наколов дрова, сидел на осиновом чурбане и подбивал клинышком топорище. Вдруг на окраине поселка послышался приглушенный выстрел. Кто-нибудь пробует ружье, подумал я, наверное, по сорокам бабахнул.

Вскоре прибежал Лешка. Он ткнулся мне в колени, взвизгнул по-щенячьи и упал. Я бросил топор на кучу березовых поленьев и склонился над ним. Весь его бок был в крови. Стреляли не по сорокам...

Прошло много лет, но мне все так же тяжело вспоминать подробности той минуты, заново переживать Лешкину смерть... Глаза, прекрасные собачьи глаза моего друга все понимающие глаза...

Я лежал, обнимая мертвого Лешку, и плакал навзрыд. Тяжелая тоскливая злость душила меня

Я побежал. Сначала просто бежал, размазывая по лицу собственные слезы и Лешкину кровь. Потом понял, куда я бегу.

Он, человек с каменной лысиной, черпал воду в колодеце.

— Зачем ты убил его!!— закричал я.

Он вздрогнул. Полное ведро сорвалось со сруба и упало в колодец, рукоятка завертелась, как пропеллер, гремя и повизгивая. Тяжелый подземный всплеск.

— Ты что? Ты что? Белены объелся?

— Старый болван! Твоя жизнь не стоит Лешкиной, тебя убить надо...

— Ну ты, щенок...

Я вспомнил кулечек, брошенный через перила понтонного моста и, присев, нащупал рукой один из кирпичей, которыми был вымощен подход к колодецу.

Мой враг попятился от меня, бормоча: «Я думал, волк, я думал — это волк...» Резко повернувшись, он бросился к своей веранде.

Кирпич, попавшийся мне под руку, был слишком тяжел. Я швырнул его в спину убийце, но он плюхнулся в лужу, в равной степени обрызгав грязной водой и меня, и моего врага. О, как отомстит мне за этот минутный страх человек, убивший Лешку...

На автомобильной свалке я нашел разбитый кузов старой «полуторки». Из досок с сохранившимся бортовым номером сколотил гроб. Дно устлал соломой.

Лешка лежал вытянувшись на золотой соломе и казался особенно большим и тяжелым.

Никогда я не чувствовал себя таким беззащитным и одиноким, как в ту ночь, когда вез Лешку на старой скрипучей тележке по безлюдным, залитым сине-серебристым светом улицам поселка. Где-то на окраине надрывно выл цепной пес, тревожа собачьи души, добровольный плакальщик. И эту дикую, безысходно тоскливую песнь на разные голоса подхватило чуткое собачье племя.

Я вез хоронить Лешку на человеческое кладбище. И это не было святотатством, хотя я знал, что ни один человек в нашем поселке не поймет меня. Когда из жизни уходит даже очень плохой человек, о нем говорят: умер. А о самой умной и доброй, преданной собаке скажут: издохла. Собаки умирают точно так же, как люди. Но дело не в том даже, кто как умирает, дело в том, кто как живет.



Зеленый петух

Между кленами-шарами, состоящими из упругих ветвей, веток и веточек, как знак минус, накатана ледяная дорожка. По дорожке катается Рудольф Васильевич, поглощенный этим занятием. Из подъезда выходит Витька и долго наблюдает за толстым очкастым Рудольфом Васильевичем, без устали трущим лыжные ботинки. Улучив момент, Витька разбегается и шелестит валенками по льду.

Рудольф Васильевич отходит в сторонку и, заложив руки за спину, смотрит, посалывая, как Витька носится от клена к клену то на одной правой, то на левой, то, вообще, задом наперед.

Зрачки Рудольфа Васильевича за толстыми стеклами немодных очков расслаблены: деревья, Витьку, стену, снежинки он видит смазанными плоскими красками.

Воскресный невесомый звон стоит во дворе. Снежинки тают на розовых, вспухших от улыбки щеках полного человека, только одна из них примостилась на реснице и качается белея.

С треском раскрывается форточка на третьем этаже, женский в меру громкий голос наполняет двор, сталкиваясь со снежинками:

— Рудольф, займись с Димкой!

Рудольф Васильевич делает усилие над глазами — и снова видит все в деталях, краски приобрели оттенки. Он уходит, захватив прислоненные к стене лыжи.

Снегопад словно растет на глазах. Это уже не снежинки а снежины, даже снежищи. Во дворе пусто. Витька катается от дерева к дереву, расчищая валенками дорожку от падающих хлопьев.

Город, где живут Витька и Рудольф Васильевич, первый год называется городом. Это не совсем город. Это что-то среднее между городом и деревней, золотая середина между двумя крайностями. Он своеобразен и мил в своей незавершенности. Город был построен как приложение к плотине. Мне остается жалеть, что в этом рассказе вы не прочтете о весенней радуге, рождающейся солнечным днем над плотиной в каплюстой водяной пыли, об утках, спящих на реке, которую Витька считает самой большой рекой в мире, потому что кроме нее рек он больше не видел.

О многом вы не услышите в этом рассказе, но зато узнаете о событиях таинственных. Каждый мужчина должен иметь свою тайну. Как же иначе проверить, умеешь ли ты держать язык за зубами?

Голоногий простуженный петух стоял на отполированных Витькиными подошвами луже и, сотрясая роскошный зеленый хвост, клевал отражения звезд. Он ежился, пушил перья и между делом смотрел на Витьку одним глазом. Каким-то образом петух удрал из старого села за березовой рощей, откуда бесшумными салютами над снежными крышами поднимались дымы, раздувая звезды в желтые шары. Петух удрал из теплого сарая и теперь стоял среди многоэтажных домов, намереваясь полакомиться отражением звезд.

Пока Витька обдумывал, как лучше поймать зеленохвостого, петух подпрыгнул, по-спортивному передернул крыльями и резко припустил прочь.

Петух и мальчик выбежали за край многоэтажных домов и углубились в березовый околос. Пушистый снег облачками разлетался из-под ног. Пар от дыхания у Витьки светился и у петуха из клюва тоже шел пар неожиданно большой для такого маленького существа.

Голубые следы разделили надвое околос, пересекли речку, выбежали по оврагу на берег. Витька остановился и огляделся

Бесконечное снежное поле морозно блестело впереди, отражая свет луны и звезд, город теплел желтыми окнами, похожими на стаю засыпающих цыплят. Витька решил вернуться но подумал, что петуха, выгнанного им из города, теперь никто не встретит — и он замерзнет на снегу. Зеленохвостый стоял боком к Витьке с видом задумчивым и интеллигентным.

— Иди сюда, дурачок, замерзнешь, — враждующий петуха Витька, подкрадываясь к нему на цыпочках.

Петух, видимо, имевший кое-какое представление о куриных бульонах и человеческом коварстве, подпустил преследователя на критическое расстояние, подпрыгнул — и погоня возобновилась.

Испуганный заяц задал стрекача и, спрятавшись за кустом, с удивлением наблюдал, как морозной ночью неизвестно куда по бесконечному снежному полю мчатся распластав по ветру зеленый хвост, важный петух и мальчик с развевающимся желтым шарфом.

Витька ухватил петуха за хвост, но тот, трескуче хлопая крыльями, взлетел над оврагом, поросшим осинками. Витька, упавший на живот у края оврага, видел, как зеленый хвост, описав дугу, опустился на сугроб и... юркнул в него.

В сугробе синело круглое отверстие. Треснуло что-то в глуши оврага, зашелестело в дыре. Витька отполз на коленях от края и, не отряхивая снег с колен, очень быстро побежал по своим голубеющим следам назад, сжимая в шерстяной рукавике зеленое перо.

Домой он успел к ужину. Витька стал греть руки над супным паром и услышал много интересного о хороших манерах от папы, который сидел в своем любимом кресле в любимой позе — поджав под себя левую ногу.

— Пап,— спросил его Витька,— колдуны бывают?

Отец скромно ответил, что он «не компетентен в этом вопросе».

— А волшебники?

— Витя, ты уже в первом классе, пора бы самому во всем разобраться,— сказала мама.— Кстати, Лидия Александровна говорит, что у тебя не ладится с арифметикой. Ой, смотри, не поступишь в институт.

Этим мама запугивала его с первого школьного дня, и Витька примирился с мыслью, что «останется неучем» и ему «не видать высшего образования как своих ушей».

— Ну, а просто чудеса?— Витька указал ложкой на старшего брата, призывая его высказать свое мнение.

— Чудеса?— переспросил Игорь и продолжал, глядя в потолок и постукивая пальцем о стол голосом полным

намеков:— А как же! Вот вчера у меня чудесным образом исчез тюбик с зеленой краской.

— Я не брал его,— заявил Витька, обращая свое внимание на суп.

— Вот я и говорю — чудеса.

— Ладно тебе, расхвастался,— обиделся Витька.

...Ночью ему приснился зеленохвостый петух, который шел по снегу, не оставляя следов, а в клюве нес тюбик зеленой краски. Петух обронил тюбик, наступил на него желтой лапой, выдавил краску и, присев, измазал в ней хвост. Быстро-быстро бегая, он написал хвостом на снегу зеленые слова: «Хорош гусь».

Витька проснулся. Серебряно дребезжали старые часы, в мягкой тюлевой занавеске шевелились звезды. Босиком по холодному полу он прошлепал в угол, пошуршал в своем портфеле, пошарив рукой по столу, нашел коробку Игоревых красок и что-то положил в нее.

После чего, вздохнув, лег в еще теплую постель и до-смотрел прерванный сон.

Когда на следующий день Витька возвращался из школы, укрывшись от метели портфелем, как щитом, он чуть не попал под колеса машины.

Шофер открыл дверцу, чтобы отчихвостить разными словами неосторожного пешехода, но увидел Витькино лицо и пробурчал: «В такой-то день посылают малышей в школу. Лезь в кабину, я тебя подвезу».

Происшествие так ошеломило Витьку, что, выпрыгнув из кабины перед своим домом, он забыл сказать усатому шоферу спасибо. Воспоминания об этой оплошности долго мучили Витьку.

Когда он выполнял домашнее задание по математике, Игорь положил перед ним тюбик и сказал: «Слышь, брат! У меня тут зеленая краска завалялась, может, тебе согдится куда?» Они с Витькой, обращаясь друг к другу, называли себя братьями, как все мальчишки величают своих сверстников «стариками» и «отцами».

Подарок усилил Витькины муки, и он так низко склонился над тетрадью, что носом размазал непросохшую цифру «семь».

Витька нарисовал на промокашке двенадцатого петуха..

Какой зеленый хвост был у него! А что, если был он просто колдуном? Хотел заманить к себе и превратить в какого-нибудь ягненка. Любой нормальный петух не станет клевать звезды, и с чего бы ему носиться по морозу?

А может быть, он хотел показать что-то, а Витька трусил и не полез в ту дыру?

Может быть, эта дыра просверлена насквозь в земном шаре. Или дворец там какой. А может быть, там лето под снегом — и трава растет, и речка течет с теплой водой, и загорать можно.

Так думал Витька, и на промокашке появился двадцать первый петух.

Когда Витька встал на лыжи и, расстегнув пальто, сделал парус, ветер быстро и легко помчал его за город в облаке снежной пыли.

В овраге было спокойно, только сверху выла метель, да шуршали, опускаясь на дно, мелкие, как искорки, оледеневшие снежинки. Витька долго искал сугроб с отверстием и, когда решил, что уже не найдет, отстегнул лыжи, взял их под мышку и стал вскарабкиваться по склону оврага. Снег под ним провалился. Витька повис на лыжах, упавших поперек отверстия, и заболтал на весу ногами в снежной яме, со страхом думая, что дна в ней совсем нет. Край ямы обвалился.

Дно оказалось совсем близко. Весь осыпанный снегом, Витька включил фонарик и выставил перед собой, как пикку, лыжную палку. Длинная круглая оледеневшая пещера вела внутрь сугроба. Витька старался не шуметь, но малейший шорох по неизвестным ему законам физики превращался в зловещий треск и грохот. Метров через десять пещера нырнула вниз и снова, прямая и круглая, вела дальше.

Кончалась она ледяной комнатой. Большое человеческое лицо смотрело на Витьку со стены. Зеленая безрукая женщина стояла, отбрасывая тень на прозрачного мужчину, который оперся локтем о колено и положил подбородок на кулак. Внутри ледяного столба, стоящего посередине комнаты, светились разноцветные клочковатые пятна. В ледяном столбе в просверленном отверстии стояла потухшая свеча. Статуи из синего, зеленого и алого снега наполняли пещеру.

Над оврагом носились снежные вихри, словно прозрачные белые медведи, пыхтя, дрались друг с другом. А в пещере было тихо и тепло. Яркие летние краски хранил в себе сугроб. Но под коленками щеотно от страха, словно видишь перед собой большого пса, но не знаешь, добрый он или злой, а пес чуть слышно рычит. Витька ждал, что безрукая женщина или прозрачный мужчина поднимут головы и спросят, чего ему здесь надо, а круглое красное лицо с желтыми глазами перестанет улыбаться, не то он сам с

тихим шелестом и потрескиванием превратится в снежную статую.

Витьке слышались тихие вздохи и все чудилось, что в темноте за спиной замышлялось какое-то нечистое дело. Он резко поворачивался, высвечивая фонариком подозрительные углы, и тогда под скользящим лучом света стены пещеры вспыхивали зелеными, синими, красными, желтыми игловидными звездами.

Холодный страх, от которого хотелось сжаться до размеров лягушонка, сменился очарованием тайны. Кому еще доводилось видеть такое в обыкновенном белом сугробе, наметенном за долгие зимние дни и ночи в овраге, заросшем осинами? Зеленые стволы этих деревьев выглядывали из стен пещеры.

Но куда пропал петух?

Разноцветные обитатели ледяной пещеры как бы сквозь ночную пургу виделись Витьке, когда он три дня после того таинственного вечера болел гриппом.

Как скучно жить человеку без красивой тайны, как я завидую Витьке!

Право же, стоит немножко поболеть, чтобы почувствовать потом все прелести выздоровления.

С утра Витька с таким удовольствием и так долго потягивался в кровати, что стал на два сантиметра выше прежнего.

— Я уже не болею. Тыпустишь меня на улицу?— спросил он у Игоря, который ковырялся в разноцветных проводках.

— Дуй, пока я добрый,— ответил тот, зашипев, и задымив паяльником.

Когда Витька собрался, Игорь повязал ему шарф подевчоночьи, за что был награжден взглядом, которым обычно сопровождаются слова: «Эх, ты!»

Витька покатался, жмурясь от снежных блесков, по ледяной дорожке от клена к клену и, устав, поднял голову кверху, выбрал среди множества снежинок одну и стал следить за ее падением. Снежинка пролетела мимо крыши, рядом спикировал дымчатый голубь, отмахнув ее крыльями вбок, она наискосок опускалась вдоль ржавой водосточной трубы, а когда на третьем этаже пересекала голубое окно,— в правом нижнем углу ярко блеснул зеленый петушинный хвост. Старый знакомый появился так внезапно и таинственно, словно родился из белой снежинки. Петух смотрел

вниз на Витьку, словно заглядывал в микроскоп. Он встретился и бесшумно закукарекал. И в тот же миг в окне мелькнула белая женская рука, согнав его с подоконника. Петух исчез, махнув зеленым хвостом.

Через пять минут из подъезда вышел Рудольф Васильевич. Витька спрятался за ствол клена. Он долго смотрел вслед толстому человеку и обратил внимание на то, что тот одет в зеленое пальто. Дело в том, что Рудольф Васильевич жил в той квартире, в окнах которой только что таинственно появился и исчез петух.

Рудольф Васильевич был учителем рисования в школе, где учились Витька и Игорь. Он был хорошим учителем рисования и вел кружок живописи. С некоторых пор Рудольф Васильевич слишком часто совершенно случайно стал встречаться с Витькой, который во что бы то ни стало решил уловить превращение Рудольфа Васильевича в петуха с зеленым хвостом. То, что учитель рисования — волшебник, было ясно, осталось выяснить, какой: добрый или злой. Витька также отметил, что круглые очки, острый нос, полные щеки и рыжие волосы, стриженные под ежик, делают Рудольфа Васильевича очень похожим на петуха. Витька решил записаться в кружок живописи.

Занятия кружка Рудольф Васильевич делил на четыре части. Сначала он проверял домашнее задание, потом рассказывал главы из истории искусств и показывал цветные диафильмы про египетские пирамиды и греческие храмы, третья часть называлась «техника рисования и живописи», а четвертая — «десять минут фантазии», когда можно было рисовать все, что придет в голову, начиная от цыпленка и кончая крокодилом включительно.

— Можно, я буду рисовать петуха?— спросил Витька у Рудольфа Васильевича на «десяти минутах фантазии».

— Можно,— разрешил тот.

— С зеленым хвостом,— уточнил Витька.

— Хорошо.

— На белом снегу,— добавил хитрый Витька многозначительно.

— Это будет очень красивый рисунок,— сказал Рудольф Васильевич.

Петух получился красивым, а на клюве у него висели круглые очки, которые рассмешили Рудольфа Васильевича.

Вечером Витька раскрыл тетрадь, в которую решил заносить все главные события жизни и наиболее интересные мысли. На первой странице была выведена печатными бу-

квами запись-открытие: «Иванова — ябеда». Витька задумался. Он вспомнил, как каждый день понуро бредет Рудольф Васильевич из магазина с авоськой, полной консервных банок, кульков и хлеба, как каждый вечер, заложив руки за спину, грустно идет в кино с Лидией Александровной, которая бойко семенит рядом. А как часто Лидия Александровна кричит ему в форточку, чтобы он шел домой, и Рудольф Васильевич ни разу не послушался ее.

Витька отступил от первой записи две строчки и старательно вывел Игоревой авторучкой: «Есть злые волшебники. Они превращают добрых волшебников в петухов с зелеными хвостами».

Витька бродил по ледяной комнате, рассматривая статуи, когда наверху послышался скрип лыж. Витька спрятался за спиной голубого человека, выключил фонарик и перестал дышать. У входа говорили двое. «Это они, я подкараулил их», — подумал Витька, и в животе у него похолодело. Целый месяц он хранил тайну, а кто бы знал, как это трудно: никому не похвастаться своей тайной. Но если похвастаешь — тайны уже нет.

— Так вот на что уходили твои выходные! — это была многообещающая фраза.

— Ты еще не то увидишь, — проговорил в нос кто-то пыхтящим голосом Рудольфа Васильевича.

Пламя свечи осветило ледяную комнату, отражаясь всеми цветами на ледяных телах ее обитателей. Витька выглянул из ниши. Лидия Александровна в белой лыжной шапочке и синем шерстяном костюме стояла среди статуй, разглядывая их. Рудольф Васильевич смотрел на нее.

— Что это? — спросила Лидия Александровна, как будто сама не видела что.

Витька, приготовившийся к событиям ужасным, почувствовал искреннее разочарование, ему почему-то стало ясно, что сегодня Рудольф Васильевич не превратится в петуха с зеленым хвостом.

— Сегодня у тебя день рождения, — невянятно замямлил Рудольф Васильевич, — так вот... Ну, я хотел подарить тебе, гм, кгм... чудо.

Потом была долгая пауза, которую заполнила потрескиванием свеча.

— Рудик, я уже давно не ребенок. Это могло произвести впечатление на нашего Димку. Право же, не стоило убивать время.

Опять долго трещала свеча. Потом Лидия Александровна

сказала скучным голосом: «Спасибо, Рудик». И добавила: «Жаль, что это растает». «Как и все, что я сделал и сделаю», — добавил Рудольф Васильевич.

Витька сидел в своей нише и думал: действительно, весной все это растает, как он раньше об этом не догадывался. Витька сердито нахмурился: он злился на Лидию Александровну, хотя она и не была колдуньей.

— За твой день рождения!

Раздался оглушительный выстрел. Разноцветные тени затрепетали по ледяной комнате. Рудольф Васильевич разливал в стаканчики для мороженого шампанское.

Когда уходили Рудольф Васильевич и Лидия Александровна, их удаляющиеся голоса были бесцветными и скучными, похожими на те, что звучат по утрам на кухнях.

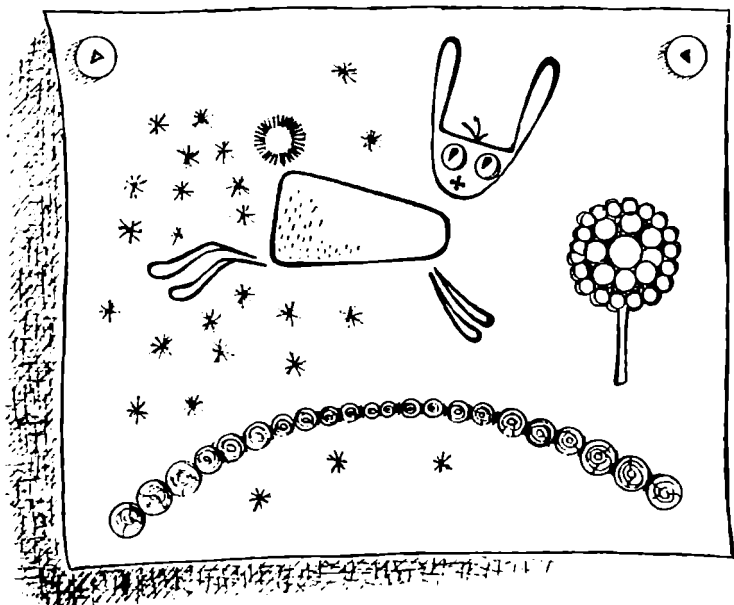
Потрескивала оставленная свеча. Посапывал Витька. Сорвалась с потолка капля и звонко щелкнула об пол. Витька стал думать, кто растает первым — зеленая безрукая, или задумчивый, или веселый? Щелкнула еще одна капля. Витькины ноздри чувствовали первые запахи весны, укрывшейся глубоко в сугробе. Еще одна капля стряхнулась с Витькиных ресниц и, прокатившись по носу, сорвалась с самого кончика. Щелкнула об пол. Витька присоединился к капели. В нем, как в сугробе, происходили какие-то весенние процессы. Да, Витька плакал, но не будем на этом факте задерживать особого внимания: он не любил плакс, но что прикажете делать, если ваша тайна начинает таять на глазах?

На следующий день в пещеру пришли все, кто поверил в Витькину тайну. У входа стояла в очереди почти вся первая смена. В ледяной комнате хрустели под веселыми каблуками упавшие с потолка сосульки. Шесть фонариков освещали ее, и утренний дробный гул слышался из отверстия в сугробе.

...Через неделю пошел первый дождь. По дну оврага шумел большой мутный ручьище, вытягивая из сугробов ручейки поменьше. В каких-то из них текла разноцветная вода снеговой пещеры.

На этом можно было бы кончить рассказ, но мне хотелось бы сообщить вам, что летом в старой березовой роше на белых стволах стали появляться петухи с зелеными хвостами. Их смывали дожди, но они снова расправляли свои роскошные хвосты. Никто не видел, кто их рисует, но все говорили, что они очень красивы.

Зеленые петухи появлялись до тех пор, пока тюбик, подаренный Игорем Витьке, не сплющился и не стал тонким, как березовый лист.



Белое на зеленом



Светлана отворила дверь, и хлопушка, привязанная за серебриющиеся ручки, выстрелила. Испуганно ахнув, она застыла на пороге. Витька встал с резинового мяча, на котором долго сидел, наблюдая за дверью, и пнул мягкое сиденье. Он направился к гостье, коснулся рукой ее платья. Пальцы замерзли: от гостьи пахло зимой. Витька отступил на шаг.

— Испугалась? — поинтересовался он.

Светлана прыгнула к нему, приземлившись мягко, на цыпочки, подняла Витьку на руки — ее ресницы зашевелили щеку, а в плече, куда прижалась она губами, сделалось тепло-тепло. Гостья закружилась по комнате, и Витька увидел в окне:

женщина в пуховом платке с ведром у колодца...

медленно накручивается цепь, вздрагивая и стряхивая с себя капли...

струя воды бьется в жестяное ведро, выплескивается и обливает валенки...

по-гусиному перебирая ногами и помахивая для равновесия рукой, женщина скользит с обледеневшего холмика, на котором стоит колодец...

бело и пусто на улице...

Комната начинает кружиться, и Светлана едва успевает перепрыгивать с ноги на ногу, чтобы остаться на месте. Мягкие Светланины волосы щекочут Витьке нос и ямочку между ключиц, чирикают часики на ее руке.

Этой зимой Витьку только раз отпустили на улицу. На него надели весь его гардероб. Он был толстым, как матрешка, и мог только стоять и чуть-чуть шевелить ногами.

То было в пору первых особенных снегов, влажных от далекого дыхания ушедших дождей.

Мальчишки в пальто с мокрыми полами катали шары из снега, к которым прилипали опавшие листья, еще сохранившие желтизну. Шары ставились друг на друга, и получались снеговики. Снеговиков было много — все в желтых листьях, с угольками вместо глаз, щепками вместо носов, и улыбками, выцарапанными пальцем.

Среди снеговиков появилась красная корова, страдающая насморком, и долго мычала, пока не пришла коричневая бабушка, одетая в черный полубухок, и не поманила ее за собой куском домашнего хлеба.

У хлеба был такой вкусный запах, что, соблазнившись Витька потопал вместе с коровой за бабушкой.

Разыскала его мама на реке, где он лежал на тонком зеленом льду вниз лицом и, сделав ладошки биноклем, смотрел, что творится под ним. Мама хлопнула Витьку по традиционному наказуемому месту — жест с ее стороны при наличии стольких одежд у сына чисто символический — и, усадив на алюминиевые санки с проволочной спинкой, повезла домой вдоль длинного тальникового плетня, за которым катилось солнце и тыкало в щели тонкими лучами

Много дней на улице зима, а он стал уже забывать, что это такое. Витька завидует Светлане, которой разрешено ходить по морозу и даже кататься на лыжах. Что такое «кататься на лыжах» Витька не знает, но если папа и мама запрещают ему делать это, должно быть что-то интересное.

Под вечер Светлана приходила к нему, и он засыпал, перебирая ее пальцы.

Светлана жила на краю села, как на краю света. Это страшно далеко, но однажды, когда Витька лежал в про-

стынях и болел, она пришла к нему вся в белом и положила прохладную ладонь на его лоб.

— Как тебя зовут?— спросила она

— А тебя?

— Светлана.

Светлана сидела в коричневом кресле и листала альбом. Альбом был Витькин, а сам он стоял рядом, скрестив ноги и облокотившись о Светланины колени.

Витька умел рисовать одного только чудного зверька. Этот зверек мог скакать, как жеребенок, которого Витька видел однажды летом, когда тот догнал бабочку, он был покрыт белой шерстью и обладал длинными ушами, как кролик, который спал на желтой соломе в клетке; мяукал, как котенок, умел улыбаться и, хотя у него не было крыльев, мог летать.

Мама говорила:

— Какой милый зверек! У него хвостик, как одуванчик

Папа:

— Он похож на тушканчика.

— Что такое тушканчик?— спросил Витька.

— Это такой маленький серый зверек — земляной заяц.

Он жил в степях, но, говорят, почти исчез, потому что степи перепахали.

— Что такое исчез?

— Это когда был, а потом нет.

Витька изумился и, указывая пальцем в альбом, спросил

— Может быть, и его нет, значит?

Папа кашлянул.

— Что ли вообще нет? .

— Я его не встречал.

— А я где-то видела,— перебила папу мама,— кажется, в кино.

Витька с подозрением посмотрел на нее, вздохнул.

— А тушканчики умеют летать?— спросил он отца.

— Нет!

И Витька, еще раз вздохнув, сказал, успокаиваясь:

— Значит, это не тушканчик.

Каждую ночь легкий длинноногий зверек, похожий на тушканчика, снился ему. И каждую ночь он то быстро-быстро убегал, то улетал, пушистый и робкий, или скрывался в старых ходиках, которые стояли с тех пор, когда еще Витьки не было на свете. Висели они над Витькиной кроватью как украшение. Просыпаясь, Витька вставал на

неверные ото сна ноги и заглядывал внутрь молчаливых часов, но зверька там не было. Витька прыгивал в уютные тапочки-шептуны, взбирался на старое кресло и долго смотрел в утреннее окно, ожидая, когда по белым снегам пробежит неуловимый зверек, повернет к нему голову на гибкой шее, улыбаясь, мигнет зелеными глазами.

— Это котенок?— спросила Светлана, долистав альбом до конца и возвращаясь к первой странице.

Витька отошел к окну, сел на сине-зеленый мяч, повернувшись к ней спиной, и, помолчав, сказал невнятно и сумрачно:

— Буду я рисовать твоего ненормального котенка!..

— Мурзик нормальный котенок.

— Он ненормальный: он летать не умеет.

— Нормальные котята не летают.

— Летают. Все нормальные летают.

— А ты умешь летать?

— Да. Я во сне летаю.

— А почему ты на меня сердиться?— склонилась над ним Светлана.

У нее большие зеленые глаза, и Витька испугался, вспомнив, что такие же глаза — у его зверька. Любая тайна, даже добрая, немного страшит.

Открыв лапой дверь, вошел котенок Мурзик, хитро посмотрел на Витьку, на Светлану, ходики, повернулся и вышел. А дверь за собой не прикрыл.

За чистыми стеклами с капельками воздуха — дома, снега, дымы, зеленое небо, красное, как морковка, солнце. В синем стекле забытого на подоконнике фужера солнечный паук грустно шевелил лучами-лапками.

У Светланы теплые длинные пальцы, но сегодня она не рассказывает сказки, которые выдумывает сама, потому что старые позабыла, а новые не читает. Она молчит, и Витька вспоминает хлопущку. А Светлана думает: почему Витькин зверек умеет скакать, как жеребенок, но не умеет брыкаться, умеет мурлыкать, как котенок, но не умеет царапаться и противно выгибать спину. Витька думает о хлопущке.

— Хочешь,— мрачно говорит он,— я укушу себя за палец?

Он быстро сует в рот указательный и больно кусает, наказывая себя за провинность.

— Белобрысик ты мой, белолобик,— шепчет Светлана глупые и добрые слова. Добрые слова всегда почему-то кажутся глупыми.

Все сделалось голубым. Словно отрезанный, опал легким газовым шарфом на пол светло-красный грустный луч, Светланин голос стал дробиться на десятки гулких шепотов. Издалека слышался мягкий скок. Старый знакомый летел навстречу Витьке. Шерстка зверька колыбалась, отдавая синевой, хвостик-одуванчик смешно подпрыгивал, светились зеленые глаза. Он лукаво посмотрел на Витьку, мурлыкая и вздрагивая ушами, повернулся и побежал прочь.

Они пробежали по гулкому изогнутому мостику из ровных бревнышек, который висел прямо в синеве, потом появились сугробы и дымы — круглые и белые, а между ними росли серебряные одуванчики на зеленых ножках. Зверек легко прыгал с одуванчика на одуванчик над сугробами, между пухлыми светящимися дымами. Витька бежал и бежал за ним, а вокруг была только синева.

Старые ходики из коричневого дерева с зеленым циферблатом и свисающей цепочкой, которую хотелось собрать в руку и медленно опустить, чтобы слушать пошелкивание ровненьких звеньев, висели среди синевы. Зверек прыгнул на маятник и стал раскачиваться. Он качался, пока маятник не остановился.

Витька проснулся. В черноте нестерпимо синели прямоугольники окна. Тишина была особенная, страшная: у Витьки не билось сердце. Ему захотелось громко и долго кричать, но он смог только открыть рот. Лыдинки плавали в его крови. Прямоугольники окна поплыли вверх, становясь мерными, а все остальное — синим. Были только Витька, холод, синее и черное.

Тихо и мягко стукнуло под ребрышками. Тук... тук-тук ... тук-тук... Будто лапки убегающего зверька. Витька лег на живот и, не доплавав, уснул.

Зеленый дом напротив был с желтыми узорными ставнями, словно из фанеры выпилен, а сразу за ним начиналось небо, которое, если на него надавить пальцем, пружинит, как натянутая простыня. Снег лежал мягко и пухло, словно вырос за ночь.

Витка сидел в кресле с ногами, смотрел в окно и нюхал страницы книги, которую держал на коленях. Это была свежая, никем не прочитанная до конца книга. Между страницами еще сохранился холод, потому что папа принес ее с мороза. Витка видел, как папа сидел над ней, облокотившись о стол и закрыв уши пальцами. Было странно, что большой человек очень долго может молчать и смотреть на какие-то запутанные черточки. В этом была тайна, и Витка немножко испугался в тот раз.

Он принялся водить по строчкам глазами, перелистывать страницы и закрывать пальцами уши. Пошелестел белыми листами и снова прижухивался.

Больно. Нужно не шевелиться и ждать, пока сердце судорожно и больно вздрогнет, а потом застучит снова.

Остановился желтый щенок под окном, воровато оглядываясь, замотал ушами, похожий на озорного мальчишку в шапке-ушанке, оставил желтое пятно на снегу и убежал, веселый и любопытный.

Витка разложил цветные карандаши, раскрыв блокнот. Он нарисовал руки с длинными пальцами, которые держали длинноухого белого зверька, похожего на жеребенка, кролика, котенка, чуть-чуть — на цыпленка и на одуванчик. Зеленый дом нарисовал на белом сугробе и зеленое небо, которое начиналось сразу за ним, белые круглые дымы, похожие на снеговиков, нарисовал и красную корову с желтыми листьями на рогах. Витка немножко подумал и в уголке нарисовал голубого Мурзика.

В этот день его закутали во множество одежд и повезли на саночках к маленькому домику на краю села.

Большой зеленый кузнечик опустился с неба, покатился по пухлому белому полю на крепких лапах, расплескивая и сдувая снег, а на повороте совсем исчез — только видно было, как сквозь метель, поднятую им, блестел пропеллер.

Папа посадил его у круглого окна самолета и сел рядом.

Белое поле с маленьким домиком, мамой и Светланой, словно привязанное до этого к крыльям, было сдуто с них и провалилось вниз и назад, а самолетик, дрожа от натуги, загадочным образом оставался на месте.

Витка летел. Восторженный страх от полета и желание расплакаться при виде быстро уменьшающихся мамы и Светланы смешались в одно сложное щемящее чувство высоты. Папа склонился над ним и показал пальцем вниз: «Вон наш дом». Дом Витка не увидел, он увидел снега

а там, где было солнце, — блестящую полосу, словно дорогу куда-то.

Витька впервые увидел лес и видел его сверху. Зеленые ели и прозрачные березы.

Два крошечных трактора везли крошечный стог сена, а крошечный человечек бегал сбоку.

А мама и Светлана все уменьшаются и уменьшаются и, наверное, стали уже такими маленькими, что он их больше никогда не увидит.

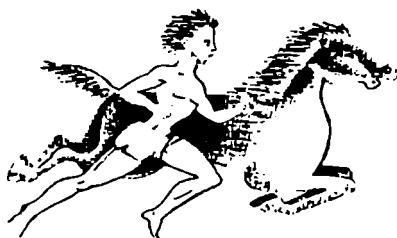
Витька медленно летел над крошечными деревеньками, домами, крытыми снегом, над изгородями, лесами, дорогами, телеграфными столбами с длинными голубыми тенями, над узорами маленьких речек, окаймленных запутанными штрихами тальника. От деревенок к копнам шли тонкие санные следы, которые петлями накидывались на них.

Витька приник к холодному стеклу, и ему казалось, что он летит один, без самолета, как во сне. Когда самолет проваливался вниз, в животе у Витьки шкотно холодело, как от ванильной конфеты — и он, открыв рот, ждал пока это пройдет.

Витька летел в большой город, в больницу, где ему должны были сделать операцию на сердце. Мир, который кончался за зеленым домиком, плыл под ним в необъятном снежном великолепии.

* * *

Прошло несколько лет, и в Витькиной комнате появилась крепкая белокурая девочка. Она звонко топала толстыми ножками, много смеялась и громко плакала. Над ее кроватью под молчащими ходиками висел нарисованный зверек с белой шерсткой, который скакал, как жеребенок, мяукал котенком, шевелил по-кроличьи ушами. Он, кажется, летел. Это было видно по его улыбке и большим зеленым глазам, которые не мигая смотрели на девочку





Древогроз



Дождь — как старик, который разговаривает сам с собой. Он то топчется на месте, то быстро семенит, то идет тихо-тихо и все бормочет, бормочет, погруженный в свои думы.

Весь в веснушках, словно в рыжих дождинках, рядом со мной в сухом дупле старого дуба на охапке сена сидит Женька. Обломком пластмассового гребня он расчесывает вихры и слушает, как потрескивают электрические разряды в волосах. Во рту у него лампочка от карманного фонарика, которая, по его словам, должна загореться.

Зеленый кузнечик сидит на травинке и смотрит на бесцветные струи. На потолке дупла, убаюканный дождем, спит комар.

Женьке надоели бесплодные попытки стать электростанцией. Он сидит, блаженно зажмурив глаза и выставив босые ноги на дождь.

— Дождик, дождик, припусти. Мы поедем по грибы,— мурлычу я.

— А здорово было бы,— перебивает мою песенку Женька,— если бы дома росли сами. Как грибы — от солнца и дождя. Как наш дуб. Ведь, правда, это неплохой дом?

У меня захватывает дух. Захлебываясь от восторга, я развиваю мысль:

— Здорово! Захотели построить город, раз-два, набросали зерен — и вырос город!

— А дома растут прямо со стеклами в окнах, с водопроводом, с крышами и... и... и с телевизорами,— добавляет Женька.

— А ты знай себе ходи с леечкой да поливай!

Мы глядим друг на друга и долго смеемся.

Старый дуб кряхтит узловатыми ветвями, лепечет влажными языками листьев фантастические вещи — сказку о деревянном городе, который растет сам-собой от солнца и дождя.

Раз, два, три, четыре, пять... Прошло шесть лет.

Мы с Женькой сидим за партой в 10 «А» на уроке физики. Он раскрывает блокнот, и я вижу рисунок: дом на корню.

— Самое главное,— шепчет Женька,— вложить программу в зерно, чтобы в нем были хромосомы стен, хромосомы крыш, окон...

Я недоуменно молчу.

— Ты что, забыл наш дуб?— шепчет от чуть громче.

Учитель, продолжая объяснять материал, внимательно смотрит в нашу сторону. Мы молчим до конца урока. На Женькиных скулах играет румянец негодования.

— Помнишь: дом, который растет, как дерево. Дерево — дом!— повернувшись ко мне, говорит он не дожидаясь пока зазвенит звонок на перемену.

— Жень, тебе никто не говорил, что ты чудак?

— Нет, а что?

— Странно... Это же сказка, красивая сказка — все.

— А ковер-самолет тоже сказка?

— Сказка сказке рознь. Вот, например, э... царевна-лягушка — сказка. И дома твои, которые растут — тоже сказка.

Женька сердито захлопывает блокнот и прячет его в портфель.

— Хорошо,— говорит он таким тоном, словно вызывает на дуэль,— мы встретимся через шесть лет у нашего дуба.

Шесть лет прошло, и мы, совершенно случайно, встретились.

У старого дуба стояла брезентовая палатка. Женька копался на небольшом огороженном участке возле какой-то коряжины, похожей на гнилой дуплистый зуб.

— Первый блин,— поглаживая редкую кучерявую бородавку, с гордостью говорит Женька и влюбленно, чуть прищурившись, смотрит на это страшилище.

«Что ж,— мудро думаю я,— у каждого есть свой вечный двигатель».

* * *

Моя работа, мои очень нужные и чрезвычайно срочные дела постепенно вытравили воспоминания детства. Одно я помнил четко: дупло дуба, дождь, зеленый кузнечик и Женька, чудак, пытается извлечь из себя электричество. И вот однажды я покупаю свежую газету, разворачиваю на ходу и надолго останавливаюсь посреди многолюдного тротуара. Древоград... Древоград... Далекие позывные детства.

Я беру отпуск без содержания и приезжаю в места, где мальчишкой бегал по лесам за шиповником, из которого моя бабушка делала себе лекарства, где ловил в тихой речке под мшистыми валунами скользких налимов, а по осени жег на кострах картофельную ботву.

Иду к старому ворчуну-дубу, и мне кажется, что там я встречу самого себя, маленького светлоголового крепыша с рогаткой в кармане.

Старый сказочник с львиной шевелюрой прекрасно смотрелся на желто-зеленом полотне раннего неба. А за ним я увидел мираж: крупные красно-бурые стволы стояли прямо, как свечи, а в них были окна, двери, вместо крыш — зеленые купола листьев. Дом или гигантское дерево? А рядом — что-то круглое также растительного происхождения. Удивительный дом с балконами-ветвями, с круглыми окнами. Между домами-деревьями росли просто деревья.

Из глубины этой сказки раскованной мальчишеской походкой шел ружий человек.

Взрослым трудно вернуться в детство. Наверное, потому, что каждый взрослый однажды изменил своей мальчишеской мечте. Но я увидел сбывшуюся мечту детства и забыл о своем мудром предательстве. Мир снова заполнен светом таинственного предчувствия новых открытий.

— Евгений Владимирович... Женька, здравствуй!

* * *

Неожиданно и громко ударил гром, словно сорвавшаяся сосулька угодила в дно пустого таза. Тучи подкрались из-за спины, и ливень прервал наш разговор на самом интересном месте. Женька рассказывал о повальной миграции населения из больших пропахших бензином городов в его растительные города, об удобрениях, от которых дома-растения тянутся не по дням, а по часам, о соловьях, которые без ума от новых жилищ человека...

— Бежим! — пробасил Женька и припустил вприпрыжку под голубой шрапнелью первых дождинок. Несолидной трусой я поспешил следом за ним.

Льет слепой дождь. Женька сидит рядом на охапке зеленой травы в сухом дупле старого дуба. Теперь нам чуть-чуть тесновато. На сломанной травинке сидит кузнечик и смотрит на дождь, а мой рыжий друг пытался извлечь из себя электричество.

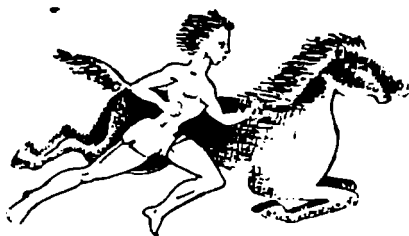
Мы молчим, но дуб ворчит потихоньку, скрипит облысевшими ветвями.

— Воздушные замки потому и воздушны, что они из воздуха, из ничего. Но воплоти их в алюминий, в бетон, в стекло, придай им цвет и форму, одари звуком — и никто не посмеет назвать их воздушными, — бормочет он и переливается капельками солнца.

И еще:

— Слишком легко мы расстаемся с воздушными замками своего детства, старики.

Мне немножечко грустно, потому что человек в моем возрасте не имеет права на воздушные замки.





Ружье

Настой из запахов водорослей, ежевики и прелых листьев чернотала щекочет ноздри. Сережка с Витькой шагают к острову Каменному. У Витьки пробита гвоздем пятка и он ступает на пальцах, обходя «лывы» с торчащими из них кончиками осоки.

Раннее утро. Конская тропа тянется по кромке обрывистого глиняного берега. Он весь в дырах стрижиных гнезд. На той стороне твякает лиса, солнце встает за березовой рощей, просвечивая сквозь зеленые кроны. Там — казахское кладбище, место загадочное и страшноватое.

Друзья внимательно осматривают камышовые островки. Где-то среди них рыбачит Иван. Он обещал взять их с собой на зорьку, да не захотел возиться, а они проспали.

Мальчишки свистят. Они видят зеленую плоскодонку. Нос ее воткнул в камышовый куст, а с кормы свисают удилица.

Иван поднимает над головой крупную щуку. Ее влажный хвост горит на солнце. Иван бросает ее на дно лодки, и

едва слышный всплеск заворачивает пацанячьи души. А в руках Ивана бьется еще одна рыба. Это одна и та же, иначе бы рыбак поднял их в двух руках.

— Ни себе чего! — от удивления путает порядок слов Серега.

Вода спокойная, Каменный остров и сопка отражаются в ней без изъяна. Только когда Иван вытаскивает или забрасывает удочку, от поплавок раскатываются светлые круги. И сопка-отражение мелко изгибается, как бы зябко поживается от озноба.

— Вань, забери нас, — заискивающе-ласково просит Витька.

— Мы к тебе сейчас приплывем, — шепчет Серега.

Иван, не поворачиваясь, показывает кулак. Со спины он похож на бобра. Ладный бархатный затылок ворсисто золотит поднимающееся солнце.

— Вань, а Вань...

Он отвечает в сторону, тихо гундося, дабы не услышала рыба, а если и услышала, то не приняла на свой счет.

— Поплыву проверять закидушки — заберу.

Иван прикладывает палец к губам. Он весь напрягается и медленно вываживает из зеленой тени зяя.

Наконец ребята сидят в лодке. В руках — короткие удилища, они горстями золотят воду пареной пшеницей, переглядываются и счастливо перемигиваются. Украдкой они пугают щуку. К их удовольствию крупная рыба бурлит мелкую лужу на дне лодки и окатывает брызгами спину Ивана.

— А, шалава, разыгралась! — ругается он.

Под пробковым гоплавком Витька видит странно подпрыгивающих людей. Он поднимает голову. Четверо бородачей цепочкой идут по берегу со стороны казахского кладбища. Все они одеты в брезентовые брюки; ковабойки, обуты в болотные сапоги, за плечами рюкзаки и ружья. Кажется, что они шагают по дымным верхушкам чернотала.

Первый снимает с плеча ружье и небрежно стреляет в воздух.

— Эй, на лодке, — горланит он, — перевези!

— Не пугай рыбу, — кричит ему Иван. — Ниже по течению за второй сопкой брод.

— Далеко идти?

— Километра два.

Бородач прыгает с обрыва вниз. Слышен приглушенный топот и треск раздвигаемых кустов.

— Не дури, Рауф, — окликают его с берега.

Бородатый Рауф, продравшись сквозь кусты, поднимает расструги сапог и, не снимая рюкзака и ружья, шагает в реку. «Эх, ручеек мой, ручеек», — с цыганским пристоныванием напевает он. Шагов через десять он погрузился по грудь, но не вернулся, поплыл, загребая одной рукой, а другой высоко поднимая над головой ружье.

Что это было за ружье! Сон в субботнюю ночь! Пиратская тоска сосала мальчишеские души, когда они смотрели на вороненые стволы и темно-красный приклад с отгравированными пластинами.

Бородач не знал нашего тихого Ишима. Невидимая с берега, пригнутая течением, сумрачно и гипнотически медленно шевелилась густая трава. Она опутала ноги пловцу. Он отчаянно забарахтался, погружаясь с головой, так, что над водой торчал лишь ствол. Бородач хотел сбросить сапоги и не хотел бросать ружье.

На берегу закричали, стали торопливо раздеваться.

Иван смотрел на ружье и медленно поднимал якорь, опутанный водорослями. Пока он разворачивал нос и плыл к тонущему, рука, с судорожно зажатым в ней ружьем, исчезла под водой.

Иван прыгнул в центр пузырящегося круга. И Витька, сбросив брючата с тощих ног прямо в лужу на дне лодки, легким паучком, почти не поднимая брызг, плюхнулся за борт. Коричневые грязные водоросли холодными лапами зашекетали живот и сомкнулись над ним. В полосе света с золотыми пятнами подводных пылинки он увидел Ивана и утопленника. Мальчишка вскрикнул прямо под водой, так напугали его мутные силуэты двух людей. Выныривая, он отчаянно разрывал скользкие стебли и больно стукнулся головой о днище. Уцепившись за корму, Витька долго кашлял.

Подплыли бородачи. Вблизи они оказались очень молодыми и очень перепуганными парнями.

Их товарищ лежал на дне в странной позе, подобрав под себя ноги, как бы придавленный тяжестью рюкзака. Вместе с Иваном они оторвали его от дна и забросили в лодку. На лице утопленника, почти закрыв его, перепутались длинные волосы, мертвенно стекала с его одежды вода.

Бородачи потерянно и бестолково суетились, кричали друг на друга, зачем-то раздели утопленника и попытались сделать искусственное дыхание, но никто из них не умел делать его правильно. У них одинаково подрагивали челюсти на коленях.

В это время на берегу застучала бричка. Дед Фадей вез нарубленную для починки плетня талу. Худые, косматые, охрипшие от крика парни вскарабкались на кручу и схватили под уздцы лошадь. Талу как попало разбросали по сторонам, уложили в бричку Рауфа, и один бородач, как был в плавках, забрался в нее вместе с дедом

— Погоняй! Скорее! В больницу!

И лошадь, подгоняемая в две руки кнутом и талиной, чуя мертвого человека, всхрапывая, потащила тяжелую бричку напрямую по бездорожью в село.

Витьку, словно закупавшегося до посинения, колотила неотступная дрожь. В тягостном молчании мальчишки собирали разбросанные по берегу ружья, одежду, сапоги, рюкзаки, погрузили вещи в лодку и перевезли бородачам.

Один из оставшихся тихо матерился и плакал. Он ругал мертвого товарища. Ноги и плавки его были в глине, но он, не обмывшись, натягивал брюки. Второй сосредоточенно ломал спички, пытаясь прикурить. Когда они уходили, унося по два рюкзака, он сказал Ивану:

— Что же ты не поторопился, рыбак...

С рюкзака, который он нес в правой руке, под каждый шаг срывались тяжелые капли.

Иван пошел вычерпывать воду из лодки и, склонившись над ней, досадливо шелкнул языком: в суматохе щука выскользнула за борт.

— Салажня, прохлопали глазами, — с сожалением вздохнул он. — Больше я вас с собой не возьму.

Ближе к вечеру Сережка с Витькой сидели у костра. Сережка ел прихваченный из дому хлеб, заново переживая происшедшее, строил догадки: что это были за люди, куда шли и зачем, почему утопленник плыл в одежде и не хотел бросать ружье.

Иван рыбачил на старом месте. Он беспокойно ерзал, вставал, оглядывая берег, садился и снова привставал.

По берегу с дальних лугов прогнали стадо коров, и пыль, поднятая ими, долго стояла красноватым туманом в лучах вечернего солнца.

Костер из сушняка почти не дымил, и мальчишки подкладывали в него пучки травы, чтобы отпугивать комаров.

— Шли бы домой, чего комаров кормить, — говорил им Иван, обдувая себя папиросным дымом и звонко хлопая по шее.

Чисто и ясно отражались в спокойной воде сопка и Каменный остров. Мирно булькали пробковые поплавки

Иван разделся, сложил одежду на сиденье и с кормы прыгнул в реку.

— Эх! — с наслаждением закутился винтом, бурля и вспенивая воду. — Теплая, как ее и нет.

Было жутковато смотреть, как он плещется и ныряет там, где несколько часов назад захлебнулся человек. Вот он брызгается, шумит, а нырнет — и над рекой тихо-тихо. Только звенят комары да слышно, как по первой росе прыгают в траве лягушки.

Из воды медленно поднимается рука, стиснувшая двустолвку.

Пацаны вскочили на ноги и очумело уставились на ружье. По-моржиному медленно всплывает лоснящаяся от красного солнца и теплой воды голова Ивана. Он, фыркая, плывет к лодке, и Витька вспоминает, как медленно поднимал Иван якорь и как прежде чем оттолкнуться шестом, вытащил жерлицу, чтобы не зацепить за траву.

Лодка утюжит прибрежную отмель, звенит цепь, и веселый Иван усаживается у костра. На нем одни брюки, а рубашкой он насухо протирает разобранное ружье.

Ах, что это за ружье! Золотятся от пламени костра пластины. На них высечены озерные птицы, звери. Рысь притаилась на ветви. Ее длинные задние ноги напружинились, она замерла и даже кисточки на ушах не вздрогнут. Олень тревожно поднял красивый узор рогов. Летит утка с капелькой крови на клюве. И все эти волнующие картинки переплетены орнаментом незнакомых трав.

— Дай подержать, — заискивающе-ласково просит Серега.

Он осторожно и уважительно берет ружье, разглядывает непонятные метки на прикладе, которыми отражает его пальцы, как крышка рояля. Серега долго смотрит через стволы на костер. Приятная тяжесть оружия холодит его сердце.

— Только уговор, братва, про ружье — никому ни слова, — и в доверительности Ивановых слов — слабая тень угрозы.

— Что ты, — поддакивает Серега, — козе понятно.

Витька, не отрываясь, смотрит на ветвистый куст костра. Его колотит синий озноб речной сырости, ноет проколотая пятка. На той стороне, у кладбищенской роши, бродят спутанные кони, и звенит колокольчик.

Он смотрит в огонь, а видит, как Иван в мутном голубом окне среди бурых водорослей, выпуская пузыри изо рта, вырывает из рук утопленника ружье и торопливо прячет его в камышовый куст.

Витьке страшно.



Суслик

Если там тарантула вылить или суслика, то лучше Солопова с этим делом никто не справится. Это тот самый пацан с шестого участка, где целинники живут. Его еще Однобровым дразнят. Тот, что прошлой весной чуть глаз себе не вышиб консервной банкой. Ну, знаете, если мокрый карбид накрыть банкой, то в ней скапливаются газы, и она — бах! — метров на десять в небо. Или Солопов зазевался, или банка вбок полетела — только брови как не бывало. Его и так пацаны уважали, а после этого случая и подавно.

Этот Солопов только посмотрит на норку и сразу скажет, есть здесь суслик или нет. Он их столько вылил — не сосчитать. Его за это даже наша вожатая хвалила. Мол, берите пример, мол, борьба с вредителями полей... Короче, он этих сусликов столько уничтожил, что хлебом, который они могли бы сожрать, можно было бы такую деревню, как наша Ильинка, целый день кормить. И еще бы немного

собакам осталось. Это наша пионервожатая подсчитала. Она еще сказала, что если каждый из нашего класса уничтожит столько же грызунов, сколько Солопов, то наша Ильинка будет обеспечена хлебом почти на целый месяц. Мы всем классом после уроков — в степь. Во главе с Колькой Солоповым. Он, правда, с одним условием согласился с нами идти: чтобы как он скажет, так и делать. И у норок не разговаривать.

— Суслик — это такой хитрован, — говорит Солопов, — он человеческую речь понимает.

— Не верьте ему, все он брешет, — это Асылхан возражает. Не нравится ему, что Солопов условия поставил.

— Кто, я брешу? — у Солопова то место, где должна быть бровь, даже покраснело. — Если хочешь знать, я могу привести факт.

— Лучше мамку в школу приведи.

Солопов надулся и замолчал. А мы все по степи разбежались — норки искать.

Валька Петрова кричит:

— Ребята, идите сюда!

Мы все сбежались. Действительно, нора. Только Солопов вокруг нее походил, походил и говорит:

— Нет тут никого.

— Так мы тебе и поверили, — отвечает Асылхан и командует Борьке Очкарику: — А ну-ка, стогняй до болотца за водой. Солопов только посмеивается:

— Хоть целый день лей — никого не выльешь.

Десять раз Борька бегал к болотцу. Вода уже из запасных выходов потекла, а суслик так и не высочил.

Борька Очкарик ведро на землю швырнул и спрашивает Солопова:

— А какой факт ты хотел привести?

Солопов посмотрел искоса на Асылхана и сказал с намеком:

— Тут кое-кто сомневается. Брехуном обзывает...

— Да ладно тебе, не ломайся, — говорит Борька и при этом пинает ведро.

Но Солопов не сдается:

— Кое-кто в прошлом году говорил, что человека спутнике запустят к 7 ноября. Запустили?

Асылхан бледнеет, но молчит.

— А я, между прочим, его брехуном не назвал. Хотел он-то и есть брехун, — высказывает Солопов все, что у него накопилось на душе.

— Ребята, не надо ругаться, — вмешивается в разговор Валька — Давайте лучше норки искать.

— Норки пусть бобики ищут, — хмуро сказал Асылхан пошел в деревню. А Валька пошла норки искать.

— Знал бы что говорить. Не понимают... Еще как понимают, — воспрянул духом Однобровый, когда противник был изгнан. — Три года назад тысячи сусликов в Ишиме топилась. А почему?

— От страха, — предположил Борька. — Степь пахали начали — вот они и побежали. Переполохались.

— А почему они к Ишиму побежали? — задает наводящий вопрос Солопов.

— А куда им было бежать, раз всю степь пахали, — говорит второгодник Кумар и целится из нового поджига в ведро. Поджиг у него трехствольный, заряжен картечью специально на сусликов

— Они не топиться бежали, а на тот берег переплыть хотели, — уверенно говорит Солопов, — потому что подслушали у трактористов, что на том берегу пахать не будут. Факт!

Мы все призадумались. И вдруг Петька Сысоев говорит

— Ребята, а как же их тогда убивать, если они человеческую речь понимают?

В это время Валька Петрова кричит:

— Ребята, идите сюда!

Подбегаем — норка.

— Ну-ка, Боря, сгоняй до болотца за водой, — шепчет Солопов, прикладывает палец к губам и делает страшные глаза. Только руками показывает — караульте запасной выход.

Суслик, конечно, хитрющий зверь. Он, как говорит Солопов, чтобы спастись от воды, затыкает норку тем местом, из которого растет хвост. Но нас-то ему не перехитрить. Мы заливаем всеходы и выходы, а место, из которого растет хвост, у него одно.

Мокрый зверек выскочил из норки и понесся по полю. В него градом полетели камни, палки, а Кумар бабахнул из своей трехстволки. Правда, поджегши спичку, служащую запалом, он отвернулся и зажмурил глаза. Но все равно заорал: «Попал! Попал!»

В Земной шар он попал, вот куда.

Зверек бежал зигзагами и громко пищал.

Кумар, изловчившись, набросил на беглеца фуражку и во вратарском прыжке схватил добычу

Мы аж завизжали от восторга.

— Ах ты, гад, кусаться! — весело заорал Кумар.

Кто-то крикнул: «Расстрелять! Расстрелять!»

Суслика привязали алюминиевой проволокой к телеграфному столбу. Он смешно дергал лапами, хвостом, скалил мелкие, острые зубы.

Кумар отсчитал десять шагов. Стрельнул раз, другой.

Израсходовал весь боезапас, но в суслика не попал.

— Мазила!

Град камней полетел в телеграфный столб.

И суслик перестал пищать. Изуродованный. Мокрый. Маленький. Жалкий.

— За что вы его?

Мы удивились и не пытались скрыть этого.

— Ты что, Сысоев, того? Это же вредитель, — сказала Валька Петрова, которой нужно было родиться мальчишкой.

— А почему он вредитель? — спросил Петька Сысоев, которому нужно было родиться девочкой.

— Ну ты даешь, Сысой, — удивился Кумар, — он знаешь сколько хлеба жрет?

— А ты, Петрова?

Валька захлопала ресницами:

— Что я?

— Ты хлеб не ешь?

— Ем.

— Значит, и ты вредитель?

— Ты что, дурак? — изумилась Валька беспросветно Петькиной глупости.

— Балда! Она же — человек, — нашелся Солопов.

— Ну и что? — не унимался Сысоев. — Хлеб-то ест, побольше этого суслика.

Петька подошел к столбу.

Мордочка у суслика была разбита удачно брошенным камнем, зубы оскалены. А глаза открыты.

Нос у Сысоева задергался, и он сказал невнятно, потому что губы у него тоже дергались, будто их било током.

— Он речь человеческую понимает. А вы его камнями. Он понимает, а вы не понимаете. Он пищал, а вы его камнями. А может, он что-то сказать хотел?

Петька отвернулся от нас и побежал. И вдруг споткнулся и бултых в лужу. Маленький, тощий, мокрый — вылитый суслик.

Кумар как заорет: — Лови суслика!

И мы побежали за Петькой, дурачась, кривляясь, орал не своими голосами, свистели.

А он как припустит от нас. Будто и вправду суслик. Будто и вправду мы собирались кидать в него камнями.

Такой сутулый, бежит как-то боком. Да больно он нам нужен, нюня, Суслик.

В это время Валька Петрова кричит:

— Ребята, идите сюда!

Подбежали — нора!



Героический Петька

Еще недавно я был свободным человеком. Теперь я — раб. Мой господин и повелитель — обыкновенный лопоухий пацан. Но скажи он: «Прыгни в колодец» — и мне ничего не останется как прыгнуть. А если чуть замешкаешься, так он затынет свою любимую песню: «Как жизнь ему спасти — так пожалуйста. А как что попросишь — так извините...»

Да, он спас мне жизнь.

Об этом Азигуль Ибраева в стенгазете писала. Заметка называлась «Героический поступок». Я ее наизусть помню. «Пионер Петя Серов стремительно катился по берегу Ишима на лыжах. Вдруг он услышал крики о помощи. «С кем-то случилась беда» — подумал пионер Петя Серов. Он зорко посмотрел на реку и увидел беспомощно барахтающегося в полынье одноклассника Васю Березина. «Держись, Вася! Я не оставляю тебя в беде!» — крикнул пионер Петя Серов и храбро скатился с крутого берега. Рискуя собственной

жизнью, он лег на тонкий лед и пополз к тонущему товарищу. Протянув лыжную палку, мужественный пионер Петя Серов вытащил на лед Васю Березина. «Спасибо тебе, Петя Серов, — сказал Вася Березин, — за то, что ты не оставил меня в беде и спас мне жизнь! Ты настоящий пионер и верный друг...»

Мне бы так ни в жизнь не написать. Талант! Она даже в районной газете заметки печатает про то, как мы помогаем совхозу убирать картошку, а престарелым и инвалидам — пилить дрова и носить воду. Вырастет — еще лучше писать будет.

Мне только одно непонятно. Зачем на весь свет трещать о тимуровцах, если они совершают свое благородное дело тайно и бескорыстно.

Однажды распилили мы дрова деду Кириллу — и все было шито-крыто. А она — бух в газету «Благородный поступок». Дед за костыли и — в школу. «Оболтусы! — кричит. — Хулиганы!» И ну давай всем тимуровцам уши крутить. Оказывается, эти бревна он для строительства бани заготовил. А кто ж его знал? Бревна как бревна. На них не написано, для бани они или для печи.

Мы Азигульке так прямо и сказали: «Ты это дело кончай. Нам слава не нужна. Нам свои уши дороже».

Я, конечно, понимаю, что Азигуль не просто пишет, а пишет художественно. Только откуда она взяла, что Петька стремительно и храбро скатился с берега?

Если не по-художественному, а по правде, то дело было так. Полынью прихватило ледком. И мы поспорили с Петькой: выдержит ли лед, если по нему прокатиться с разгона. Я сказал — выдержит, а он: «Прокатись, если такой смелый». И выдержал бы — точно говорю, — если бы меня не занесло юзом. И вовсе я не кричал о помощи. А остальное — правда. Но спасибо я ему не говорил, потому что только потом, после Азигулькиной заметки, понял, что Петька не просто протянул мне лыжную палку, а спас жизнь.

Ему за это медаль «За спасение утопающих» дали. А мне дома тоже... дали. А в школе про мою фамилию забыли. Утопленником зовут.

Немного погодя Петьке аппендицит вырезали. Везет же человеку — считай месяц в школу не ходить.

Классная учительница Любовь Петровна и говорит: «Что же это вы, ребята, ваш товарищ перенес операцию, а вы его даже не навестите. стыдно. А ты, Березин, ходил к Серову? Как же так? Он ради тебя жизнью рисковал, а ты его, можно сказать, в беде бросил. Нехорошо».

Еще бы! Конечно, нехорошо. Меня аж в жар бросило.

Мама компот наварила, и пошел я в больницу. Лежит Петька весь бледный и стонет. «Больно?» — спрашиваю «Тебе бы так, узнал бы тогда».

И стал я каждый день к нему ходить. В больницу, а потом и домой. Темы объяснять и задания помогать делать, чтобы не отстал. Только он не очень-то этому обрадовался. «Вон, — говорит, — батя в прошлом году ногу сломал, так ему, думаешь, с работы экскаватор пригоняли, чтобы он от других не отстал? Нет, люди понимают: человек должен сил набраться, отдохнуть».

Розовым шрамом на животе Петька гордился еще сильнее, чем медалью «За спасение утопающих». И без того парень героический, а тут еще все пузо заштопано. Ясное дело, все девчонки в него без памяти влюбились.

А я по дороге в школу теперь за Петькой захожу. Портфель-то тяжелый, а ему напрягаться нельзя. Тут у меня и второе прозвище появилось. Одни меня называли по-старому Утопленником, а другие Денщиком. Кому как больше нравилось. А Женька Пузаков так вообще кличку придумал: «Денщик недотопленный». Один Петька звал меня по-человечески — Васильком. «Василек, будь другом, принеси... Василек, сбегай... Василек, найди...» Наш пример снова вдохновил Азигульку за перо взяться. Написала про нас заметку «Друзья, которых не разлить водой». Я было сачканул однажды, не зашел за Петькой. Так он вообще в школу не пришел. А после неделю дулся. «Как жизнь ему спасать — так Петька, а как Петьке портфель донести, так нет. Пусть лучше у Петьки все кишки наружу вылезут».

Прошел месяц, второй, а я все таскал Петькин портфель. Оказывается, у него аппендицит был какой-то особенный «Я, — говорит мой спаситель, — может быть, одной ногой в могиле стою. Понимать надо». И так сам себя разжалобил, что на глазах слезы выступили. Маленький такой, лопоухий, скулит как беспризорная дворняжка. Я сам чуть не заревел. Мне-то он жизнь успел спасти, а сам погибает в расцвете лет. «Может быть, еще выживешь» — говорю. Петька вздохнул, высморкался и мрачно отвечает: «Навряд ли. У меня, должно быть, в животе скальпель забыли».

Я подозрную трубу сделал. Петьку пригласил на Луну посмотреть. «Подари», — говорит. Я еще ничего не сказал, обдумывал, а он уже захныкал: «Эх ты! Друг, может быть перед смертью на звезды посмотреть хочет, а ты зажиллся».

Теперь Петька каждую ночь перед смертью звездами любит. И мне иногда дает посмотреть. Если я себя хорошо веду.

Потом к нему таким же манером мой футбольный мяч перекочивал. Я было забеспокоился, как бы у него кишки не повылазили от натуги. Но он меня успокоил. «Мне,— говорит,— только руками нельзя тяжести поднимать, а ногами — пожалуйста, от этого вреда нет». И пинает перед смертью мяч у себя во дворе. Такой вот мужественный парень.

Прошло немного времени, и Петька определил меня личным почтальоном. Стал я записки передавать Азигуль Ибраевой. А со школы три портфеля носил.

Петька с Азигулькой впереди идут, а я чуть сзади и сбоку, как ишачок — весь в портфелях. Хотя бы скорее каникулы наступили, думаю.

Когда чего-то очень ждешь, время будто кто тормозит.

Но вскоре мне неожиданно повезло. Азигулькин портфель стал носить Генка Листьев. Я-то обрадовался, а Петька, наоборот, надулся и говорит:

— Что-то мне этот Генка совсем в последнее время не нравится. Задастся больно.

— С чего ты взял,— отвечаю,— хороший пацан.

А сам думаю: хороший-то он хороший, только немножко свихнутый. Стал бы нормальный человек по доброй воле чужой портфель таскать.

А Петька свое гнет:

— Вздуть бы его надо. Я бы его одной левой — раз, раз! — и глубокий нокаут.

При этих словах он вдруг застонал, скорчился, за свой аппендицит схватился и говорит печальным, тихим голосом:

— Ты мне друг, Василек?

— Спрашиваешь,— отвечаю.

— Исполни мою предсмертную просьбу — накостылай Генке.

Я призадумался. За что костылять-то? За то, что Генка с моих плеч груз снял? Вот так ни за что ни про что вместо спасибо — да по шее.

Пока я размышлял, Петьке совсем плохо стало. Вот-вот умрет.

— Конечно,— шепчет,— как что, так Петька. Пусть лучше Петька с Генкой дерется, пусть у него все швы разойдутся, пусть он скончается в страшных судорогах, а кое-кто лучше в сторонке постоит. Кое-кому на это наплевать с высокой березы.

Он такой. Отчаянный. Накостыляет — и помрет.

— Я что, я — ничего,— говорю,— только за что вздуть-то его?

— Сказал бы сразу — поджилки трясутся. И без тебя обойдусь. Только на похороны мои не приходи.

Меня от этих слов как током ударило. А ночью страшный сон приснился. Будто весь наш класс хоронит Петьку, а я из-за кладбищенской ограды выглядываю и подоить стесняюсь. А Петька вдруг из гроба встает и говорит: «Как жизнь кое-кому спасать — так Петька, а как в могилу лезть — так кое-кто лучше за оградой постоит». Тут он посмотрел на меня и говорит: «Василек, ты мне настоящий друг? Тогда полезай в могилу».

Тут я проснулся от страшных мук совести и подумал. «Последним я поросенком буду, если не вздую Генку Листьева».

Остались мы с ним на большой перемене одни в классе я ему и говорю:

— Бей первым.

А он отвечает:

— С чего мне тебя бить-то, ты мне ничего плохого не сделал. А если хочешь — так сам первым бей.

Стали мы с ним грудь в грудь и кричим:

— Бей первым.

— Нет, ты первым.

— Трусись, да?

— Это ты трусись!

— Войди в мое положение. Мне, может быть, тоже тебя не хочется бить. Так надо.

— Раз надо — бей.

В этот момент Петька в класс влетает и орет:

— Ты чего к моему другу пристаешь? — бац его в ухо и пулей — из класса.

Что и говорить — геройский парень.

Генка возмутился: «Двое на одного?!» И как даст мне в нос. Я так в стенку и вмазался, а на меня Менделеев свалился и рамой по макушке треснул. Ох, как я разозлился! И давай мы кулаками махать. Еле-еле нас разняли. И повели в кабинет к директору.

Строго-строго посмотрел на нас Пал Палыч и спрашивает сурово:

— Ну, дуэлянты, рассказывайте, из-за чего Мамаево побоище устроили?

А о чем рассказывать? Не о чем рассказывать. Стоим молчим. И так мне жалко стало, что в наших местах никаких стихийных бедствий не происходит. Случись сейчас землетрясение, наводнение, я бы сейчас Пал Палыча и Генку спас. Глядишь, все бы и забылось, и родителей в

школу вызывать не стали. Только вот беда, даже пожар и тот не приключится. Стены-то каменные. Опять же Генка совсем безвинно страдает. Набрался я смелости и говорю:

— Это, Пал Палыч, я первый начал

А Генка:

— Нет, это я его первый ударил.

Тут кто-то в дверь робко постучался. Азигулька вошла, красная, как земляника.

— Пал Палыч, простите их. Они больше не будут. Это они из-за меня подрались.

Пал Палыч нахмурился. Из-за стола встал, подошел к окну и тополь разглядывает. Стоит, наверное, и наказание придумывает. Подумал, подумал — ничего не придумав. Спрашивает Азигульку:

— Что же нам с ними, Ибраева, делать?

— Пусть они помирятся и ограду в пришкольном участке покрасят.

Пал Палыч отвечает:

— Помирились надо. Это верно. Пожмите, ребята, друг другу руки и дайте слово конфликты решать путем мирных переговоров.

Пожали мы руки, и Пал Палыч продолжает:

— А насчет забора, Азигуль, ты не права. Это не наказание, а награда — работать ради общего блага. И доверить это драчунам я не могу. Они же вместо ограды друг друга краской перемажут.

— Не перемажем, Пал Палыч, — говорит Генка.

Нахмурился Пал Палыч и говорит:

— Включили мы вас, Листьев и Березин, за хорошую учебу в список для поездки в Боровое. Как вы думаете, могу ли я после того, что случилось, согласиться с таким решением? Поставьте себя на мое место, подумайте.

Поставил я себя на место Пал Палыча, подумал и пришел к выводу, что согласился бы с таким решением. Но в это время Пал Палыч говорит:

— Вот видите. Не могу. Идите.

Петька меня в коридоре встречает и спрашивает

— Ну что, за родителями послал?

— Нет, — говорю, — в Боровое не пускает

— И Генку тоже?

— Да, и его.

— Так ему и надо, — обрадовался Петька. — А ты не горюй — я тебе потом все расскажу, что там было.

Подошли каникулы. И уехал наш класс в Боровое. А мы с Генкой остались забор красить. Пал Палыч сначала

не доверял нам это дело, но потом сказал, что запретить нам работать на общее благо тоже не имеет права.

Красим мы с Генкой забор и беседуем.

— Чего это ты все портфель Петькин таскаешь? — спрашивает он.

— Я же тебя не спрашиваю, зачем ты Азигулькин портфель таскаешь.

— Это другое дело. Она — девчонка.

— Хочешь сказать, что у нее портфель легче?

— Не хочешь — не говори. Только твой дружок — симулянт и трус.

— Ты что? Какой же он симулянт и трус, если он мне жизнь спас, — отвечаю, — у него даже медаль есть. Прежде чем говорить, думать надо.

Против медали Генка ничего возразить не смог. Так мы красили-красили ограду — и не заметили, как подружились.

А тут наши из Борового вернулись. Выпрыгивают из автобуса — веселые, загорелые. Где же, думаю, мой лучший друг Петя Серов?

Смотрим — Азигулька из автобуса выпрыгивает и руку Петьке подает. А он, как пенсионер, весь сгорбился. Лицо страдальческое, будто зубы болят или двойку получил, а медаль «За спасение утопающих» так и сияет на солнце.

Генке, хоть он и не сказал ничего, а не понравилось ему все это.

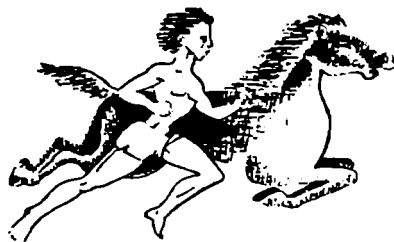
— Пойдем, — говорит, — Василий, на язевую заводину. Там сейчас знаешь, как чебак клюет. А у твоего дружка новый провожатый появился. Дойдет он до дома, не рассыплется.

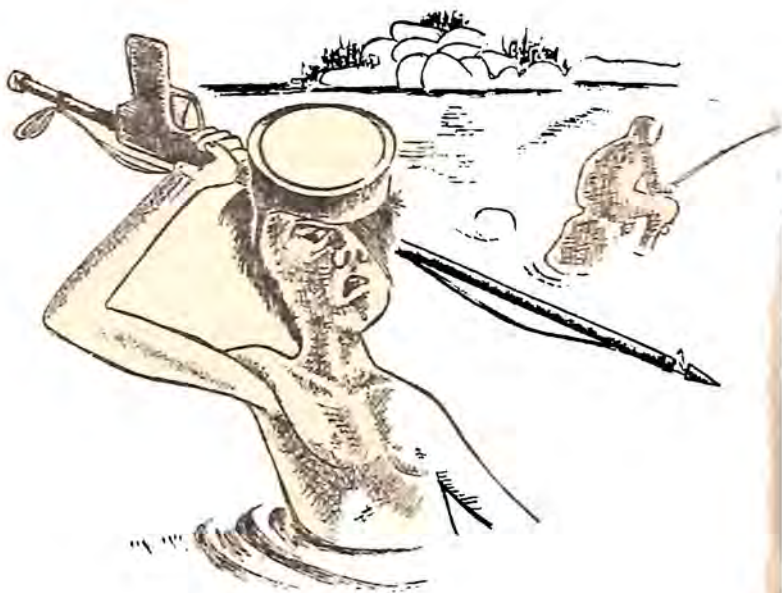
Вот я обрадовался!

А Генка загрустил.

Странный человек.

А Азигулька мне жалко. Трудно дружить с героями.





Куш

Аежим на камнях разрушенной наводнением мельницы. Шумит и искрится пережат. Греемся на солнце и рассказываем, что видели под водой. — Сама с окурков, — показываест мизинец Серега Мурзасов, — а поперек в зубах плотвичку держит — с себя ростом. И такая деловая, шустрая шуругаечка — виляет хвостом, как баба бедрами, когда полные ведра на коромысле несет.

Серега встал и показал, как виляет хвостом шука.

Андрейка с открытым ртом ждет паузы, чтобы вклинить свою историю. Елозит от нетерпения. Он начинает громко, чтобы не перебили, и с самого интересного, чтобы успеть дорассказать:

— Вот такой хвост, как лопата, чесслово, — он составляет вместе растопыренные ладони. — У-у-у, пернатая! И в траву, и в траву. Ну, думаю! Ка-а-ак дал!..

— ...и мимо, — заканчивает за него Серега.

Мне тоже не терпится рассказать о круглом и тощем,

как блин, карасе. О том, как я опешил от удивления и забыл о ружье, встретив озерного жителя в реке. Карась тоже был изумлен встречей, но первым опомнился и спрятался в водорослях. Еще мне хотелось рассказать, как в солнечном омуте красовался своим опереньем подводный петух. Он был таким ярким, зелено-красным, что я не сразу узнал в нем окуня.

Но в это время Андрейка сказал нахмурившись:

— Глянь-ко — Кум прется.

По перекату, как по проволоке, шел в «семейных» трусах по колено тощий пацан.

Издалека было видно, как его бьет крупный озноб от долгого пребывания в воде. Он часто приседал, накалявая ноги на острых камнях или скользя по гладким валунам. На лбу у Кума, как глаз циклопа, сверкала стеклом маска. В правой руке он держал подводное ружье, а в левой на толстом канате, которым можно было бы и застрявший трактор вытянуть, висела засохшая шурогайка.

— Пы-пы-привет! — произнес хлопающими губами синий Кум, сотрясаясь всеми суставами и суставчиками. — Ку-ку-королевский выстрел!

И продемонстрировал свою шучку — недоноска.

Но в это время его сорочьи глаза наткнулись на наш общий кулан: две щуки и красавец горбач.

— Бы-бы-браконьеры! Вот браконьеры! — сказал он то ли с обидой, то ли с завистью. Натянул ласты, поплевал на маску и растер ладонью, чтобы стекло не запотевало в воде. С шумом низвергнулся в реку.

— Всю рыбу перепугает, — с осуждением сказал Андрейка.

Патологическая жадность Кума была хорошо известна всей Ильинке.

Весной, когда водопадом у плотины било пелядь, Кум на латаной-перелатаной лодчонке в радуге брызг среди облаков пены крутился, как черт на сковородке, вылавливая плавающую вверх брюхом рыбу. Чайки пикировали на Кума, визгливо ругали конкурента на своем птичьим языке.

Как-то раз он так перегрузил добычей свое корыто, что стал тонуть. И пока лодка погружалась в воду, все вылавливал подсакom кружащуюся в водоворотах дохлятину.

А однажды по осени набил он острогой мешок налимов. Понимал: хватит, не донести, а остановиться не может. Бил и плакал: «Куда я ее дену?» Так бы и колот всю ночь, если бы не рыбинспектор.

...Вылез Кум из воды не синим, а зеленым. Он уже не дрожал, а тряся, как отбойный молоток.

— Нью-ню-нет тут ни черта! — сказал он со злобой. — Всю рыбу перестреляли, браконьеры!

Сергея не спеша затушил о коричневую пятку окурков. Вошел в воду спиной, без брызг погрузился. Дважды показывалась над речной гладью его тюленья голова, по-лошадиному отфыркивалась и вновь погружалась. Через пять минут Сергей был на берегу, неторопливо снимал с гарпуна двухкилограммовую щуку.

Бедный Кум! В первый раз я увидел, что такое «перекосило от зависти». Ему очень не хотелось лезть в воду. Он предпочел бы прыгнуть в костер. Но чувство, переполнявшее его, было сильнее рассудка.

Охотник из Кума был никудышный. Нырлял он по-утиному: опустит голову в воду и изо всех сил колотит ластами. Брызги летят, волны кругами расходятся, рыба из воды выскакивает.

Мы тоже не на облаках жили. Нам тоже не было безразлично — добудем мы что-нибудь или вернемся домой с пустыми руками. Но больше всего в подводной охоте нас привлекал сам процесс. Погружаясь в реку, мы словно попадали на другую планету. Там были другие законы, неземные существа и пейзажи. В этом фантастическом мире мы ЛЕТАЛИ. Мы видели то, что никто из людей до нас не видел. И никакими словами нельзя передать миг, когда из темно-зеленого мрака омута как бы из ничего появлялась РЫБА.

Нет, мы не жили на облаках. Но у нас были свои правила. Не бить мелочь. Бить только наверняка и не оставлять подранков. Не хвалиться добычей.

...Кум на четвереньках, как тарантул, вылитый из норки, выполз на берег. Без добычи.

Каждый сустав у него трясется по своей программе. Он что-то говорит, но что — не разберешь. Заползает на горячий валун, обнимает его. Валун начинает тихонечко раскачиваться. Куму, наверное, хочется вот также руками и ногами обхватить солнце, чтобы чуточку согреться, унять этот судорожный, неотвязный озноб.

Но в это время из воды выходит Андрейка, и веснушки у него светятся: добыл жирного, огромного налима.

Сине-зеленый с желтым отливом Кум стонет от зависти и ползет, ползет к реке. Скулит по-щенячьи, но ползет. Жадность, легендарная жадность делает его героем.

Выползает он из реки по-крокодилий.

— Хватит, Кум, — уговаривает его сердобольный Сергей, — ревматизм в молодые годы заработаешь, до пенсии не доживешь.

Кум бранится в ответ и бросает в воду камни.

— Пошли, мужики, домой, — говорит рассудительный Сергей, — не то этот придурок или утонет, или лопнет от злости.

— Или замерзнет! — хохочет Андрейка.

Мы с Сергеем тоже смеемся, представляя, как Кум от жадности замерз в июле.

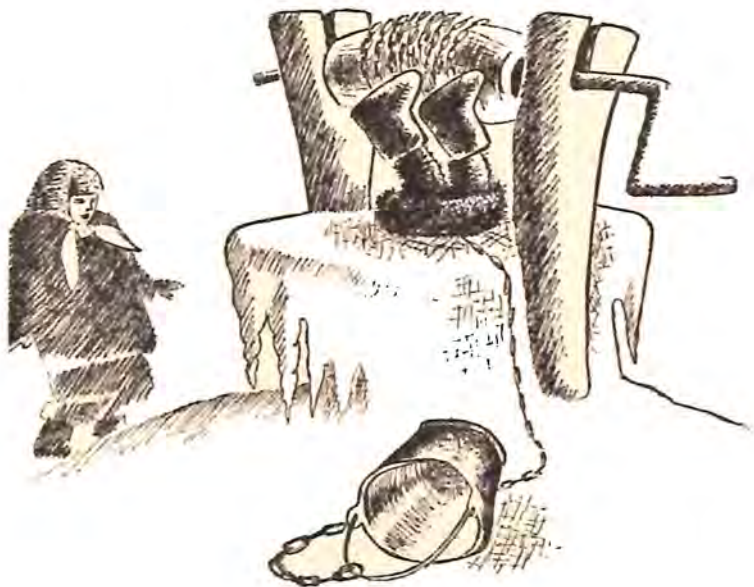
ПОВЕСТИ



Эти маленькие повести были написаны очень и очень давно. С тех пор полярно изменились ориентиры общества. Взрослые дяди и тети стали обзывать друг друга разными обидными словами: «продукты тоталитарного общества», «совки»...

В это скандальное время, пересматривая архивы, автор наткнулся на пожелтевшие школьные тетради, исписанные полудетским почерком. Он прочитал их с любопытством, как свидетельства минувших лет и с удивлением обнаружил, что его юные герои были свободными и счастливыми людьми, да и время не было таким ужасным, как об этом говорят и пишут сейчас. По утрам всходило солнце, лил дождь, падал снег, в урочный час вскрывались реки и прилетали журавли, а когда расцветал шиповник, шел на пареную пшеницу язь... Это и была настоящая жизнь.

Автор не знает, как отнесутся к этим повестям современные мальчишки. Он просто надеется, что мальчишки всех времен и народов, в отличие от взрослых, более постоянны в понятиях добра и зла.



Поросенок в мешке

Всем бабушкам бабушка

Баба Уля поставила на стол самовар. В его круглом боку отразилась растянутая от безмерной печали, зареванная мордашка Анто-на Павловича.

— Ску-у-у-учная ваша деревня, домо-о-о-ой хочу-у-у-у,— монотонно гудел гость.

По его розовым щекам равномерно текли слезы. Чтобы нарисовать портрет Анто́на Павловича, не надо быть великим художником.

Достаточно иметь под рукой циркуль.

Круглая голова, круглые, как пельмени, уши, круглые глаза, круглый живот. Вид у него на первый взгляд глу-поватый. Он похож на резинового надувного поросенка. Перевязанный белой марлей безымянный палец на левой руке, словно затычка в игрушке.

— ...домо-о-о-ой хочу-у-у-у...

— Дома-то еще скучней,— вздыхает баба Уля.— Мамка твоя в Алма-Ату улетела. Студентка она у тебя, заушница. А папка в командировку укатил. Командир он у тебя, вот и командирует. Далеко укатил. В город Анадырь. Куда поедешь-то?

— А Анады-ы-ы-рь,— загудел Антон Павлович.

Он вспомнил, как автобус, который привез его в скучную деревню Ильинку, где дома по самые трубы завалены снегом, возвращался в город. Автобус катил по неровной дороге, пыхтя и переваливаясь с боку на бок, а с обеих сторон поднимались в небо большущими деревьями дымы из печей. И было так горько видеть, что стекла у автобуса слепые от мороза. Долго в заднем окне покачивалась белая ладонь. А чья она и кому машет — не поймешь. А потом стало тихо-тихо. Только где-то далеко-далеко в бело-синей мгле грустно тарахтел трактор, лаяла собака и шуршали снежинки.

— ...ску-у-у-учная деревня...

— Что ты, милок,— возразила баба Уля,— наша деревня — всем деревням деревня. В нашей деревне дома вверх трубами стоят и снег у нас белый.

— У-у-у-у,— загудел Антон Павлович, не найдя чем возразить на эти справедливые слова.

— Одна была песня у волка — и ту отобрал,— вздохнула бабушка.

— А пра-а-авду папка говорил, что у вас волки в дереве-е-евню заходят?

— Наши волки, Тошка, всем волкам волки. Ушасты да зубасты, всем говорят «Здрате!»

— Все ты вре-е-ешь...

— Я-то вру? Да в нашей деревне грибы зимой собирать можно.

Баба Уля отвернула половичок, а под ним — кольцо. Потянула за кольцо — и Антон Павлович глазам своим не поверил — в полу раскрылась черная дыра.

Вслед за бабушкой по скрипучим ступеням полез Антон Павлович в дыру, со страхом ожидая, что кто-то вдруг выскочит из темноты и схватит его за ногу. На всякий случай он держал наготове пистолет, стреляющий белыми пластмассовыми пулями.

— Ба, а что это такое?

— Это, Тоша, деревенский холодильник,— с гордостью сказала бабушка,— погреб называется.

Чего только не было в деревенском холодильнике! Тускло поблескивали банки с вареньем и соленьем, в углу стоял

пузатый бочонок с капустой, за перегородкой из досок была сыпана картошка.

А в тесном и мрачном пространстве между полом и землей росли белые упругие шампиньоны.

— Вот это грибы! — удивился Антон Павлович — Всем грибам грибы!

— А ну-ка, Антоша, срежь ему ножку, — заговорила стихами веселая баба Уля.

..Грибы вкусно потрескивали на сковороде. Бабушка что-то приговаривала, открывая стеклянную банку с вишневым вареньем. В печной трубе кто-то гудел: «Ску-у-у-учная деревня, уеду-у-у-у в Анады-ы-ы-рь». Кот Васька терся о ноги. У Антона Павловича слипались глаза. Засыпая, он думал, что его бабушка — всем бабушкам бабушка.

Чистильщик колодцев

Надела бабу Уля плюшевую дошку, подвязалась пуховой шалью, взяла холщовую сумку и, весело поскрипывая свежим снегом, пошла в магазин за хлебом.

Только она за порог, как в дверь прошмыгнула подозрительная личность. Черноглазая девчонка в подшитых пимах. Схватила без спросу ведро — и на улицу.

Возмутился Антон Павлович. Наклобучил шапку и — в погоню.

— Отдай, — кричит, — это наше!

А девчонка на него — ноль внимания. Позвякивает ведром, подпрыгивает и напевает: «Зелененький он был, зелененький он был...»

Подошла к колодцу, привязала цепь к дужке ведра и говорит:

— Совсем в нашей деревне мужики перевелись: некому колодец почистить.

Сруб, действительно, весь обледел и горлышко в колодце узкое-узкое — ведро едва проходит.

— А как его чистят? — спросил Антон Павлович

— Пешней.

— А что такое пешня?

— Это лом

— А что такое лом?

— Ты что — с Луны свалился?

— А зачем ты наше ведро взяла?

— Ваше, ваше, не волнуйся

Но Антон Павлович перестал волноваться, лишь когда девчонка принесла и поставила на место полное ведро воды.

— А ты кто?

— Тимуровка.

— Это тебя так зовут?— засомневался Антон Павлович.

— Зовут меня Айгуль. А тимуровцы — это ребята, которые помогают бабушкам и дедушкам.

— Я тоже хочу помогать...

— Ты еще маленький, тебе еще самому надо помогать. Ты даже пешню не поднимешь,— сказала Айгуль Тимуровка и указала варежкой на странный предмет таинственного предназначения — полужелезный, полудеревянный с веревочной петлей — большая-пресобольшая швейная иглолка.

Обиделся Антон Павлович, но промолчал.

...Много сил потратил гордый Антон Павлович, пока волоком, за веревочку тащил пешню к колодезю.

Не перевелись еще мужики в деревне Ильинке!

Жалко, что эта задавала-девчонка его не видит...

...Тяжелая пешня скользнула в колодец и вслед за ней, как нитка за иглолкой, нырнул Антон Павлович.

Баба Уля так и обмерла, когда, возвращаясь из магазина, увидела знакомые валенки, торчащие из колодца.

Сумка выпала из ее ослабевших рук.

Из сумки вывалилась булка.

Громко причитая, баба Уля извлекла своего непутевого внука из колодца.

Сделать это было нелегко. Упитанный Антон Павлович, как пробкой, заткнул собой узкое горлышко сруба, а на руке затянулась петля, намертво связавшая его с тяжелой пешней.

— Горюшко ты моё,— пела баба Уля,— навязался ты на мою голову, ох, не умрёшь ты своей смертью. и меня, старую, раньше времни в могилу сведёшь...

Пока велись спасательные работы, неизвестный пес системы «Шарик» схватил булку и удраг в еще более неизвестном направлении.

Укротитель телят

С этого дня решением бабы Ули свобода передвижения Антона Павловича была ограничена огородом.

Да он и сам не очень-то стремился на улицу.

Дело в том, что в колодце утонула шапка, и баба Уля, выпуская внука в огород подвязывала его своей старой шалью.

Такой позор можно было переносить только в одиночестве. Посредине огорода торчали стебли обезглавленных подсолнухов.

У плетней белыми волнами застыли сугробы. На плетнях сидели сороки.

Не больно-то весело.

Зато в сараюшке жила корова Машка с телянком Борькой.

Телянок был белый с коричневым пятном на животе. Очертания пятна напоминали Африку.

Антон Павлович сначала просто разглядывал Борьку, потом стал с ним разговаривать. Жаловался на бабу Улю. Борька внимательно его слушал, сочувственно вздыхал, тянулся губами. А Машка недоверчиво косила на гостя грустным глазом и все пыталась отеснить от него сына. Боялась, видно, что Антон Павлович дурно повлияет на Борьку.

Материнское сердце задолго беду чувствует. Так говорила баба Уля. А она знала, что говорила...

Дня через два, соблазнив доверчивого Борьку краюхой хлеба, Антон Павлович вывел его в огород и запряг в алюминиевые санки.

У Борьки не было знакомых оленей. И когда Антон Павлович, усевшись в санки, слегка хлестнул его талинкой, теленок ничего не понял. Отпрыгнул в сторону, натянув бельевую веревку. Он смотрел на свои ноги, обутые по случаю большого снега в старые валенки, и вид у него был такой, словно он хотел сказать: «Обалдеть можно».

А от него требовалась, собственно, самая малость: мчаться сумасшедшим галопом по сугробам, поднимая пимами белые облака снега.

Антон Павлович взмахнул талиной во второй раз, и Борька единым махом выпрыгнул сразу из трех пимов.

Мирный покой деревенского полудня был бесцеремонно нарушен. Подгоняемый грохотом старых санок, шаркая оставшимся на ноге пимом, Борька мчался по переулку в сторону далекого леса.

За одичавшим телком гнался Антон Павлович.

Тимуровка Айгуль, вставлявшая снеговiku нос-морковку, присоединилась к погоне.

Недоделанный снеговик изумленным угольным глазом смотрел вслед своей создательнице. На голову ему сел воробей с крылышком, вымазанным известью, и, воровато оглядываясь, принялся клевать морковку.

Из сарая выбежала корова Машка и замычала громче пионерского горна.

За Машкой выскочила баба Уля...

Теленок Борька был пойман и возвращен в родное стойло. Он лежал рядом с теплой коровой на желтой соломе и лишь иногда вздрагивал, вспоминая Антона Павловича.

Храбрый укротитель телят сидел на печи и канючил:

— Ба, а ба, пусти на улицу...

— Никакой тебе улицы, неслух,— отвечала непреклонная баба Уля,— будешь сидеть на печи, пока отец не придет.

Весь день разглядывал узник узоры на замерзших окнах.

Пробовал он рисовать батальные сцены. Подбил десятки вражеских самолетов и танков, уничтожил массу неприятельских солдат. Но в самый разгар жестокого боя вдруг ни с того ни с сего подумал: «Эх, выломать бы из бабулиного плетня клюшку и погонять по дороге конский котях!»

Улица, полная пухлых сугробов, ледяных горок, сорок и собачьих следов, властно звала к себе.

На следующий день, усыпив бдительность бабы Ули примерным поведением, Антон Павлович совершил побег.

Он намеревался, никуда не сворачивая, сразу идти в город.

Но на пути встретил Айгулькиного Снеговика.

Выломав из плетня шпагу, Антон Павлович смело бросился в поединок с великаном, прищелкивая языком в такт воображаемому лязганью стали.

За битвой с нарастающим беспокойством наблюдал воробей с седым крылышком. Он порхал вдоль плетня и азартно чирикал, словно призывал остановить кровопролитие.

Между тем Антон Павлович исхитрился и нанес сокрушительный удар по ведру, надетому на голову противника.

Но и Снеговик не лаптем щи хлебал. Не менее мощным ударом он выбил шпагу из рук Антона Павловича. Клинок великана пронзил героя...

Зажав рану рукой, тяжело дыша, посмотрел герой исподлобья в черные глаза великана. Собрал он остатки сил и с возгласом: «Советские умирают, но не сдаются!» подпрыгнул, выдернул нос-морковку и съел ее под возмущенное чириканье воробья.

Не успел Антон Павлович насладиться перед смертью победой, как на помощь поверженному противнику подоспело подкрепление. Тимуровка Айгуль вырвала из его рук шпагу и переломила ее о колено.

Конечно, обидно быть убитым в честной дуэли, кто спорит, но потерпеть поражение от девчонки обидно вдвойне.

Антон Павлович был пленен и доставлен под конвоем домой.

— Ну ты и блудливый, как наша Рябуха, — сказала на прощанье строгая тимуровка и погрозила пальцем. — Сиди никуда не уходи, жди бабушку.

Кто такая Рябуха, что такое «блудливый» Антон Павлович не знал, но на всякий случай обиделся.

Однако трудно жить в деревне, где все о всех все знают

Карусель

Дождлся Антон Павлович, когда Айгуль ушла, а сам — шмыг со двора и бочком-бочком вдоль плетня по переулку на соседнюю улицу.

Слышит: гвалт, писк, скрип, свист, визг. Что такое?

А это за околицей карусель крутят.

На вмороженный в оледеневший сугроб кол надето колесо от саялки, к которому прикручен проволокой длинный резиновый шест. Между спицами колеса вставлены колья. пацаны на них налегают — и санки, привязанные на конец длинного шеста, со страшной скоростью несутся по обледеневшему кругу. Больше десяти кругов на них не удержаться. Полозья скрежещут, вцепившийся в сани орет как резаный, раскручивающие карусель кричат: «Давай поднажмем — шас вылетит!» Свист, писк — весело!

Антон Павлович впрыгнул в сверкающий берестой круг, шлепнулся на живот и пополз к колесу, а шест так и свистит над головой. Добрался до шелестящих, мелькающих мальчишеских ног, вскочил и, вцепившись в колесо, закрутил его вместе с другими.

— Куда эта девчонка лезет? Чья это козявка? — шумят на него.

А Антон Павлович и отвечает:

— Как дам в лоб.

Посмотрели на него мальчишки с уважением: раз такое дело — пусть крутит. Не жалко. Хоть и девчонка неизвестной породы, а видать, свой человек.

Крутили по очереди — на вылет.

Дождавшись своей минуты, лег Антон Павлович животом на санки, обхватил их руками и ногами, как паук муху. Засвистело в ушах.

Снег, небо, мальчишки, дома, дымы и плетни — все слилось в белые, красные, синие полосы. Санки накренились, легли на один полоз, который жутко скрежетал в

том месте, где лед был протерт до земли. Кто-то сильный и злой стягивал с Антона Павловича пальто и пимы.

Пахло холодной, подтаявшей от трения полозьев землей.

В нарастающем шуме, в вихревом кружение, в злом ветре исчезло все. И только один Антон Павлович летел как пуля, маленьким спутником, пробивая снеговые облака, над веселыми городами и скучными деревнями, над горами и морями. Колющие снежинки и соленые брызги летели в лицо, жалили больно, как пчелы.

Вот он пролетел над парусами, смоченными холодным дождем, пахнувшими, как простыни на морозе.

Вот он летит над Ледовитым океаном, и белые медведи разбегаются от него.

И так захватило дух от бешеной скорости, от сказочных видений, что Антон Павлович закрыл глаза и сквозь стиснутые зубы издал душераздирающий воинственный писк.

Чаше и чаще шаркали пимы пацанов, все сильнее и сильнее раскручивали они колесо, шест прогнулся дугой, как удилище, отягченное крупной шуклой. Потерявшего все ориентиры, оглушенного, центробежная сила, о которой Антон Павлович не имел чести знать, оторвала его от санок и швырнула в пухлый сугроб с такой силой, что наверху остались торчать одни валенки.

И еще раз двадцать кружился Антон Павлович в карусельном вихре. Выступившие на небе звезды сливались в огненные круги, полосы и царапины. И не было на свете веселее деревни, чем затерянная в снегах Ильинка.

Плохая шутки

Наступила ночь, но мальчишки не расходились по домам. Долго они думали, чем бы заняться, над кем бы пошутить.

Думали-думали и придумали.

Сразу за околицей, отделяя Ильинку от березовой роши, проходил грейдер, высокий, как Великая китайская стена. А в нем проложены бетонные кольца.

Сюда-то и притащили мальчишки огородное чучело — комбинезон, набитый соломой. Положили его на дорогу, привязали за ногу шнур и протянули его к ближайшему огороду, где и спрятались за плетни.

Такие с виду хорошие пацаны, а вы посмотрите, какую плохую шутку придумали.

Дорога-то в этом месте делает крутой поворот и из-за

леса водителям не видно, что там лежит на дороге.

Снег сверкает, небо вокруг звезд и луны зеленеет. Хорошо! Я имею в виду, конечно, природу, а не мальчишек.

А вот слышался сонный гул. Далекие фары просветили березовый лесок и показалось, что деревья закружились каруселью. Замельтешили, завращались по искрящемуся снегу падающие тени берез.

Очень быстро ехал шофер, слишком поздно увидел лежащего на дороге человека. Ни затормозить не успел, ни свернуть.

Остановил машину, крикнул в темноту: «Эй, ты живой?» И, не дождавшись ответа, газанул, умчался в темноту.

Нехороший человек. Над такими не пошutiшь.

И хоть знали мальчишки, что проехали всего-навсего огородное пугало, которое даже воробьи за человека не признавали, а все равно страшно стало.

Второй шофер был очень осторожным человеком. Перед поворотом он сбавил скорость, вовремя заметил лежащего на дороге человека и успел остановиться.

Мальчишки потянули за шнур, чучело с дороги скатилось и юркнуло в трубу.

Поругался, поругался водитель и уехал.

Третий шофер задавил чучело и остановился.

Оказался он хорошим человеком. А с таким лучше не связываться.

Пулей выскочил он из кабины, и не успели пацаны дернуть за шнур, как он его уже нащупал, да так сильно потянул, что у главного шутника с обеих рук рукавицы слетели.

А водитель по шнуру, по шнуру — прыгнул с грейдера и, проваливаясь по колено в снег, побежал к огородам.

Деревенские мальчишки — хитрый народ! — вдоль плетень врассыпную согнувшись побежали. И только одна маленькая, толстененькая тень осталась при ясной луне на вершине сугроба. Это, презрев все правила партизанской тактики и маскировки, стоял единственный зритель этого НЕХОРОШЕГО спектакля городской житель Антон Павлович.

— Ага, попался, постреленок! — водитель через плетень перегнулся и протянул к нему руку в краге.

Антон Павлович сделал шаг назад и... провалился, исчез.

И хотя шофер, по всему виду, был человеком решительным и смелым, но, между нами говоря, испугался.

Вернулся он к машине, достал из бардачка папиросы и спички, закурил. Хотел уехать, да вспомнил, что пугало все еще лежит на дороге. Оттащил его на обочину и поджег.

Хорошо горит солома!

...А Антон Павлович тоже испугался. Не знал он, что в сугробах бывают снеговые пещеры.

Но страх перед шоферской крагой оказался сильнее. Стукаясь головой о заледеневшие стены, пополз он на четвереньках в такую черноту, что даже рассказывать страшно.

Но вдруг что-то там засветилось впереди и вроде бы послышался чей-то разговор.

Пополз Антон Павлович дальше и видит: сидят вокруг свечи мальчишки и девчонки, шепчутся о чем-то.

Ох, что-то они замышляют, укравшись в пещере, таинственные заговорщики.

— ...деду Амантаю надо дрова попилить, а в Овражном переулке колодец почистить...

— У дежурного магазина дорожку песком нужно посыпать, а то сегодня дед Никифор ка-а-ак подскользнулся, да ка-а-ак шлепнулся — бутылку разбил...

— Тише! Слышите, кто-то шуршит?

— Да это Шарик. Шарик, Шарик, фью, фью!

— А может быть, это шпион?

Луч фонаря ослепил Антона Павловича.

— Это не Шарик и не шпион, — услышал он знакомый девчоночий голос. — Это внук бабы Ули, Антошка. Он еще маленький и глупый. Опять, поди, из дома убежал да заблудился.

Баба Уля идет на базар

Ох, и умаялась баба Уля, запихивая в мешок поросенка!

— Орет, словно его режут. Замолчи, оглашенный! — сердилась она.

Но Антон Павлович не очень-то ей сочувствовал. Его симпатии были на стороне бедолаги поросенка. Уж кто-кто, а он-то понимал, что такое неволя. Свесив рыжую голову с печи, он сказал с укоризной:

— А вот если тебя, ба, в мешок запихать, ты бы еще не так визжала.

Тут он, конечно, был не прав: визжать сильнее и нестерпимее, чем визжит поросенок в мешке, нельзя.

— Господи! — всполошилась баба Уля. — Я же, кажись, клетушку забыла запереть.

Да, с памятью у бабы Ули были нелады. Вернувшись, она увидела, что забыла завязать мешок. Еще бы чуть-чуть — и поросенок вырвался бы на свободу.

Баба Уля исправила оплошность, погрозила пальцем в сторону печи и пострашала: «Смотри мне! Не балуй!» Взвалила мешок на спину и ушла, подперев снаружи дверь пешней.

— Фу ты! Ослепнуть можно,— сказала она сама себе, выйдя из темных сеней на залитую солнцем улицу.

Поросенок увидел перед носом золотые дырочки, вдохнул через мешковину морозный воздух и радостно ответил: «Хрю-хрю!»

Бабушка слегка подбросила мешок, поудобнее устраивая его на спине, и проворчала: «Ишь, тяжелый какой!».

«Неси, неси»,— подумал поросенок и улыбнулся во всю свою розовую, пухлую мордашку.

Послышалось легкое поскрипывание снега.

— Здравствуйте, бабушка! Вам помочь?

— Спасибо, Айгулюшка, спасибо голубушка! Сама управлюсь, внученька.

«До чего у этой девчонки противный голос,— подумал поросенок,— все бы она всем помогала, когда ее не просят».

Скрип-скрип! скрип-скрип!— шагала баба Уля.

А через каждый шаг здоровалась: «Здравствуй, кум! Здравствуй, кума!»

Кто такие Кум и Кума, поросенок не знал, но поведение их было странным. Было похоже на то, что, поздоровавшись, они обгоняли бабу Улю и снова поджидали, чтобы поздороваться. Делать им больше нечего.

Баба Уля все чаще останавливалась, все чаще вздыхала. «Охо-хо-хохонюшки!» С каждой минутой она укреплялась в мысли, что не рассчитала свои силы. Надо бы было свезти поросенка на санках. Однако не возвращаться же назад. Очень нехорошая примета.

«Зайду-ка я к бабе Фене,— подумала хитрая баба Уля.— Возьму санки да заодно и попроведаю подружку. С самых крещенских морозов не встречались».

Заскрипели дверные петли и потому, как погасли золотые дырочки, запахло коровой, поросенок понял, что баба Уля вошла во двор.

Послышался шелест. Это бабушка гусиным крылышком обметала снег с валенок.

Вскоре запахло сухим ситцем, побеленной печью. Раздались радостные восклицания, прерываемые пистолетными выстрелами старушечьих поцелуев.

Оставленный у порога поросенок долго слушал, как дули бабуся в блюдечки и делились сокровенными мыслями о последних деревенских событиях, погоде, международном

положении, уделяя особое внимание ломоте в суставах.

— А что это у тебя в мешке, кума? — полюбопытствовала баба Феня.

— Поросеночка решила снести на базар да продать.

При этих словах мешок встрепенулся, зашевелился и предпринял безуспешную попытку перекатиться через порог.

— И сколько думаешь выручить?

— А сколько дадут люди добрые, — скромно ответила баба Уля.

— Проси тридцатку, — со знанием дела посоветовала баба Феня.

Мешок предпринял новую отчаянную атаку на порог.

— Внучок у меня гостит. Такой пострел — спасу нет. Шапку в колодец обронил. Вот и думаю ему подарок сделать. Заказала у Кузнецова шапку из ондатры. Так что копейка лишней не будет.

Затих мешок.

— Ох, соришь ты, кума, деньгами, соришь! Зачем мальцу ондатрову шапку? На них все так и горит, так и горит. Сшей из кролика...

«Тебе-то не все равно», — подумал поросенок.

Старушки, напав на благодатную тему, принялись говорить о детях и внуках. При этом шмыгали носами. Шмыгали-шмыгали да и всплакнули.

Баба Уля выгодно продает поросенка

Подкрепившись чаем, баба Уля погрузила мешок на одолженные санки и продолжила свой путь.

Поросенок смирился со своей судьбой. Ему даже нравилось в мешке. Приятно, когда под полозьями скрипит снег, тебя куда-то везут. А куда везут — это не волновало беспечного поросенка.

Он сладко зевнул и в ту же секунду очутился в странно знакомом лесу. Это был лес, который произрастал на окнах бабушкиной горницы. Сняли на солнце, позванивая листьями, пальмы. Летала в этом лесу прозрачная жар-птица. Она вся светилась изнутри, потому что вместо зерен наклевалась звезд...

Странные сны иногда снятся пороссятам...

— А вот живой поросеночек беконной породы от породистых родителей! — кричала баба Уля соблазнительным голосом. — Купите — спасибо скажете.

А поросенок лежал в мешке на прилавке, причмокивал и похрюкивал во сне.

Справа и слева от бабы Ули стояли упругие, краснощечные, широкоплечие тетеньки. Пританцовывали и весело хваливали свой товар: бело-розовые коровьи ляжки, желтые тушки домашней птицы.

Худые, угрюмые дяденьки в кожаных фартуках зловеще опирались на огромные топоры, воткнутые в красные, пропитанные кровью чурбаны.

Чего только не было на базаре. Здесь можно было купить домашнюю сметану, гречишный мед, малосольные огурцы и даже яблоки, которыми торговал гражданин нездешней наружности, похожий на старика Хоттабыча.

Но поросенок ничего не видел, ничего не слышал. Он безмятежно спал.

А между тем веселый бородач в рыжем тулупе, не торгуясь, вместе с мешком купил его у бабы Ули. Ласково приговаривая: «Вот откормим тебя да и зарежем, сальца насолим и пельмешек наделаем», — он уложил покупку в сани и заботливо накрыл сеном. Хлестнул лошадку вожжами и та трусцой — скрип, скрап, скруп — потащила возок вон из Ильинки.

Лесничиха и лесничата лепили пельмени

Дорога лежала через березовый лес. Очарованный, заиндевелый лес. Чудесный лес. Не хуже того, что снился поросенку.

И чем дальше, тем выше и гуще стояли деревья. Еще бы! Ведь человек, купивший поросенка, был лесником. А лесники, как правило, живут в лесу.

Время от времени бородач доставал из-за пазухи фляжку и прикладывался к ней. Затем энергично вытирал рот ладонью, нюхал рукавицу и так гулко крикал, что с ближайших берез облетал иней.

Фляжка становилась все легче, дорога — короче, лесник — веселее.

Наконец приехали.

Поросенок проснулся оттого, что над самым ухом громко лаяли и клацали зубами.

— Цыц! Пшел вон, дармоед!

После этих слов что-то зашуршало, и поросенок взлетел вверх.

...А в это время жена и пять сыновей лесника лепили пельмени.

Дело было поставлено на конвейер. Анастасия Евлампиевна раскатывала скалкой тесто. Петька нарезал стаканом сочни. Васька чайной ложечкой раскладывал фарш. Федька и Мишка бригадой соревновались с мамкой, кто больше налепит пельменей. «Катай, катай,— говорили они ей,— ишь какие сочни толстые».

Маленький Ефимка лепил пельмени автономно, кряхтел и вздыхал. С головы до ног он был обсыпан мукой и испачкан тестом. Ефимкины уродцы наглядно демонстрировали преимущества коллективного труда над единоличным.

На половине сидел кот Туneyдец. Он думал, как бы стащить хотя бы один пельмень, и облизывался.

Дружная работа была прервана приездом лесника. Он вошел в дом в клубах морозного пара с мешком за плечом, как Дед Мороз с новогодними подарками. Вокруг него, взявшись за руки, закружились в хороводе лесничата, распевая: «Папка поросенка купил, папка поросенка купил...» Слова были немудреные, но мотив веселый.

Один кот Туneyдец не поддался общему настроению. Воспользовавшись суматохой, он вспрыгнул на табурет и, стоя на задних лапах, передней подтягивал к себе чашку с фаршем, изнывая от запаха свежемолотого мяса.

— Сколько отдал?— строго спросила Анастасия Евлампиевна.

— Сколько просили,— ответил благодушно лесник,— тридцать пять за поросенка и три шестьдесят за мешок.

— Ой, дорого...

— Да ты посмотри, какой породистый поросенок. Сам розовый да гладенький, хвост крючком, ушки торчком,— с этими словами лесник развязал узел.

Из мешка высунулась рука с пистолетом.

Ствол уткнулся в пупок Ефимке..

Плач бабы Ули

-- Спокойно, бабуся!

С этими словами участковый Григорий Григорьевич Тарара достал из стола папку и, немного подумав, написал на ней «Дело о пропаже Антона Павловича Завалева».

— Рассказывайте, бабуся, все с самого начала, по порядку, не спеша.

Баба Уля развязала шаль, всхлипнула, всплеснула руками и запела:

— Ой, судите меня, люди добрые, не уберегла я внученка Антошеньку. Что скажу я снохе горемычной, что отвечу я сыну родимому? Как приедет Павлуша с Анадыря, спросит «Где мой сыночек Антошенька?» О-о-о-ох!

Это «О-о-о-ох» было таким безнадежным, что оставалось только лечь и помереть. Но баба Уля громко высморкалась и продолжала давать показания с еще большим пылом.

— Ой, казните меня, люди добрые, не жалейте меня, бабу старую. Чем разгневала Бога я, грешная? Посылает он мне испытание... О-о-о-ох!

— Бабуся! — весь заскрипел ремнями Тарара. — Бог здесь ни при чем. Давайте ближе к делу.

Баба Уля кивнула головой и запела ближе к делу:

— Где сейчас дорогой гостенёчек мой? Осерчал на меня, на безмозглую. Не пускала тебя я на улицу, все боялась, застудишь головушку... О-о-о-ох!

Как пошла продавать поросеночка (чтоб пропал он, прости рабу божью), на печи я оставила внучека. Наказала ему строго-настрого из избы никуда не выглядывать, дожидаться меня, бабу старую... О-о-о-ох!

А вернулась с базара — нет внучека, нет Антошеньки, солнышка ясного. Только спит на печи поросеночек. Чуть умом не рехнулась я, грешница. На глаза наводила на-праслину: «Стали видеть вы плохо от старости, померешилось вам, видно, с улицы. То Антошенька, а не свиненочек». Только руку к нему протянула я, как захрюкает ирод хвостатый. Подкосились тут мои ноженьки... О-о-о-ох!

— Стой, бабуся, — страшно заскрипел портупесей участковый. — Так вы продали поросенка?

— Пропади поросенок тот пропадом! Продала я его за бесценок, а вернулась домой он — непроданный — на печи лежит прохлаждается. Ой ты батюшка, свет Григорьевич! Вразуми ты старуху убогую: как на печку залез поросенок, куды делся внучок ненаглядный мой?... О-о-о-ох!

Участковый поднялся, одернул отутюженную до невероятной гладкости гимнастерку и, источая приятный для уха скрип, принялся задумчиво вышагивать вокруг причитающей бабы Ули. Стан он держал прямо, как балерина. Казалось, вот-вот встанет на пуанты и сделает изящный пируэт.

— Ответьте мне, бабуся, прямо и откровенно на следующий поставленный вам вопрос: кому вы продали поросенка? Опишите наружность этого гражданина.

— Уж страшон, уж космат — прямо страх берет. — запела на заданную тему баба Уля. — Бородища, как веник

березовый. Кулачища, как гири пудовые. Голосище, как в бочку ухает. Зверолик, хохотлив. Спаси господи, повстречаться с таким темной ночью. А тулупчик на нем весь заштопанный... О-о-о-ох!

Версию превращения Антона Павловича Завалеева в поросенка, которую высказала баба Уля, участковый Тарара отверг. Но ему еще долго пришлось обследовать печь, пшню и поросенка, выслушивать поэтические показания бабы Ули, пока он окончательно не утвердился в другой, не менее невероятной версии.

Переполюх

...Путаясь в старой шали, из мешка выползла неизвестная личность. Вытерла рукой, держащей пистолет, нос. Сурово оглядела хозяев и сказала:

— Здравствуйте вам!

Лесник, лесничиха и лесничата тоже были воспитанными людьми. Тем не менее они не ответили на приветствие. Остолбенели от удивления. Долгую паузу прервал догадливый Ефимка:

— Ула! Папка Дуську купил!

Надо сказать, что братьям давно была обещана сестренка. Они ждали ее и заранее нарекли славным именем — Евдокия.

— Сам ты Дуська,— обиделся вылезший из мешка и гневно сорвал с головы платок.— Если хочешь знать, баба Уля мне скоро ондатровую шапку купит.

— Хвост крючком, ушки торчком.— передразнила мужа лесничиха.— Ты на ЧТО это деньги потратил? Ты ЧТО это привез?

Потрясенный лесник не находил слов оправдания. Он лишь дергал себя за бороду, пытаясь проснуться.

— Ты кто? Ты чей? Откуда ты? Где твои родители? Кто запихал тебя в мешок?

На все эти вопросы Антон Павлович спокойно отвечал.

— А ваш кот пельмени ест.

Лесник, лесничиха и лесничата дружно закричали:

— Брысь, собака такая!

...Ох, и вкусные пельмени были у лесника!

Лесник, лесничиха, лесничата и Антон Павлович ели их с энтузиазмом и даже, можно сказать, с вдохновением. Огромный таз, доверху груженный пельменями, таял на глазах.

Кот Туняец, не принимающий участия в трапезе, сидит на краю полатей и смотрит на ужинающих с обидой и завистью.

— Завтра же свежи мальчишку откуда взял, — сказала сердито Анастасия Евлампиевна леснику и ласково погладила по голове Антона Павловича. — Кушай, маленький, кушай. Ишь как проголодался. И есть же на свете такие люди, которые детьми торгуют! Как их только земля носит!

Но на следующий день лесник не отвез Антона Павловича в Ильинку.

Не отвез он его и послезавтра.

И через неделю.

Потому что задул буран.

А если в тех краях задувает буран, дует он ровно неделю. Причем, обрываются провода, гаснет свет и нарушается телефонная связь. Бедная, бедная баба Уля! Все глаза себе, поди, проплакала...

Антон Павлович съели волки

А между тем Антон Павлович очень даже славно провел буранное время в большом коллективе лесничат. Лежали они себе на полатах, на овчинных полушубках да страшные истории рассказывали.

Про черного человека в черной комнате знаете? А про мальчишку, который ночью пошел на кладбище? Тоже знаете... А про кота, который разозлился на своего хозяина?.. Ладно, не буду рассказывать.

Но когда наконец-то кончился буран, и семья лесника откопалась из-под снега, вот было радости!

Вылезли из тоннеля, смотрят — солнце слепит, небо голубое-голубое, а деревеньки-то и нет. Одни бело-голубые сугробы на месте домов, а из сугробов дым идет.

Побежали откапывать соседей.

Нет на свете веселей работы.

Если, конечно, не считать катания на санках с крыш.

В жизни своей Антон Павлович такой веселой деревушки не видел.

Однако же не всё соседей откапывать да с крыш кататься. Пора и в прятки поиграть.

А играть в прятки зимой — не то что летом. Летом-то что ни играть, а зимой тебя всякий запросто найдет по следам. Тут исхитриться надо. Скажем, задом наперед прой-ги. Или чужим следом воспользоваться.

Смотрит Антон Павлович — стоит на больших деревянных санях стог, сверху — снежная шапка. А к саням задним ходом трактор подъезжает. Сейчас зацепит и увезет «Вот, — думает Антон Павлович, — сейчас я Ефимку и обману. Сделаю в сене норку и спрячусь в ней. А как доедет трактор до околицы, я выпрыгну и за березу спрячусь».

Сделал Антон Павлович в сене уютную норку и залез в нее.

Хорошо! Травой пахнет. Мягко. Так бы и заснул. А стог все не цепляют да не цепляют...

Вернулись к обеду домой лесничата — краснолицые, потные, веселые и голодные, а Анастасия Евлампиевна их и спрашивает:

— А где же Антошка-Найденыш?

Лесничата смеются:

— Его волки съели.

Шутки шутками, а где же он на самом-то деле?

Бросились по деревеньке искать, все десять дворов осмотрели — нет его. Побежали по лесам «аукать». Кричали, кричали, аж охрипли все — никто не отвечает.

Вдруг смотрят — что такое? — на снегу красное пятно, а вокруг все истоптано.

Волки кого-то задрали.

Кого-кого?.. Вот и дошутились.

Вернулись лесник с лесничатами домой, сели за стол, подперли головы руками. Переживают. А лесничиха весь фартук слезами залила. Хоть чужой, а все равно жалко.

И вдруг слышат — страшный-страшный визг и громкий-громкий стук в дверь.

Бум! Бум! Бум!

Стоит у ворот лесникова дома стройный, словно кипарис, участковый инспектор из Ильинки и держит под мышкой розового поросенка.

Счастливый конец

А между тем стожок, наконец, подцепили, трактор поднатужился, весело затарахтел и сдернул с места примерзшие и засыпанные снегом полозья.

И плавно поплыл стожок по единственной улице лесной деревушки, мимо замеченного бураном домика лесника, сурового участкового Тарары, стоящего у дверей с розовым поросенком в руках. Вот он уже за околицей, вот уже

мелькает между белых берез. Все тише и тише тарыхтит трактор. Растворился звук в небе.

Хорошо спится в стогу. Особенно если стог едет. Причем по заснеженной лесной дороге.

А едет этот стог, между прочим, в деревню Ильинку

...Увидела баба Уля стожок возле своего дома, но не обрадовал он ее изболевшееся сердце.

С правой руки поддерживал ее сын Павлуша, с левой — сноха Ася. Родители Антона Павловича.

Конечно, как вновь появившихся действующих лиц их следовало бы описать, нарисовать высокохудожественный портрет. Но, увы! И на бабе Уле, и на родителях Антона Павловича НЕ БЫЛО ЛИЦА.

Смотрит баба Уля — стоят у стожка бородатый покупатель и суровый, но несколько растерянный участковый Тарара с присмирившим поросенком.

Как увидела их, так и заголосила с новой силой: «Ох, внучек ты мой, Антошенька, ох, да на кого ты нас покинул...»

Вошли они всей грустной компанией в дом, а баба Уля в который уж раз принялась рассказывать и показывать, как вернулась она после базара, как одернула занавеску с печи. А там...

...а там (баба Уля перекрестилась «Свят, свят, свят»...) мирно спит Антон Павлович.

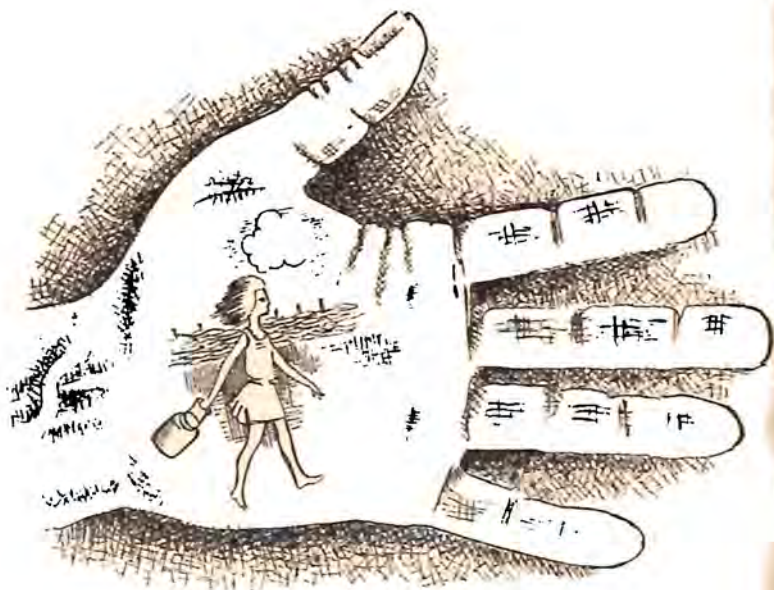
Проснулся, посмотрел строго на гостей и говорит — А чего вы снег с пимоя не обмели?

Вот этим справедливым вопросом и завершим мы повесть о веселых приключениях городского жителя Антона Павловича в скучной деревне Ильинке и ее окрестностях.

Скучная-то она скучная, но уезжать из нее — ой как не хотелось.

Долго в заднем стекле автобуса виднелись дома, по крыши занесенные снегом, дым в полнеба, голубые шары берез и баба Уля в плюшевой дошке. И все это как бы двоилось, как бы струилось и извивалось преломляясь в неожиданной слезе Антона Павловича.

Уехал автобус, увез нашего героя — но еще долго в Новостаровском районе ходили странные слухи. Будто в деревне Ильинке непослушных мальчишек продают на базаре. За тридцать пять рублей. Вместе с мешком.



Ломается голос

Волшебная ладонь

Полубой кусок льда лежит на горячем песке. Вморожен в лед маленький человек с каштановыми глазами. Вокруг расслабленного тела просвечиваются ягоды земляники... Витька открыл глаза, но не проходит ощущение сна: будто в жаркий день, когда босому не хватает терпения стоять в пропеченной пыли, падает снег, леденит лицо, плечи — и не тает.

Пахнет темнотой: холодной глиной и сухим сеном. Проникая в дыры двери, желтые лучи полосуют черноту сарая.

На глиняной стене в круглом солнечном пятнышке четко отпечатались клен вниз листвою, перевернутая землянка с копной соломы на крыше. Пропрыгал на голове по синему небу, помахивая вверху ногами, Генка Красотин.

Витька подставил руку под луч. Клен, дорога, плетни, дома, дикие яблони в палисадниках впечатались в изгибы

морщинок и шрамиков, будто выточились, отгравировались на ладони.

...Волшебная ладонь. Где бы он ни был, стоит вот так поднять руку — и вспыхнет на линии жизни кругленький золотистый экран. Витька увидит свою улицу, сожмет и разожмет кулак — появится мама. Она листает тетради, светит настольная лампа, сверкают дужки очков...

Проехал на велосипеде, пролетел вниз головой на серебряных солнцах мальчишка. Заложив руки за спину, прошел сосед, и солидная походка, вызывающая инстинктивное уважение, сейчас рассмешила.

...Если захотеть, можно увидеть все. Вдруг на ладони появится дно реки с пугливыми рыбами, угол пещеры с косматой медведицей, кусок дремучего леса, странные существа с далекой планеты...

Это иногда бывает: пробудится человек от красивого и страшного сна и увидит перед носом то, что никогда не приснится.

За черным кубом сумрака, проколотого десятью горизонтальными лучами, в утренней тишине звенит бидон, передразнивая чью-то походку. На полсекунды Витькин луч исчезает, словно с силой вырванная и так же резко воткнутая назад шпага.

В дверях с блестящим бидоном стоит Танька в ситцевом платице. И вся просвечивается.

— Ой, темно! — говорит она в пустоту, сослепу натывается на раскладушку.

— Ой, кто это!

Маленький экран на стене привлекает ее внимание, она изумляется:

— Ой!

Витька, подставив ладонь под луч, щедрым жестом подносит изображение к Танькиному носу.

— Ой! — словно зеркальце берет на ладонь и, склонившись над ней, закрывает головой луч. — Ой!

— Чего разойкалась? Подставь под луч ладонь и смотри сколько влезет. Свою, свою...

Танька садится на краешек раскладушки и, уткнувшись в ладошку, рассказывает о мальчишках, которые идут играть в футбол, о «Волге» и белой собаке с красным языком, которая лает на нее.

— Что расселась-то?

— Ой, я же смотрю.

— Ой, сядь на чурбан и смотри. — передразнивает он ее.

Желтый луч обрисовывает Таньку тонким соломенным штрихом. Бидон голубеет у ее ног. Правая коленка забинтована, и на ней земляничка крови. Когда Танька улыбается, у нее блестят зубы.

— Ты за молоком пришла?

Ситцевая Танька ойкает, исчезает в сенах. Звенит бидон. Витька подставляет под луч ладонь, переворачивается на спину — и все становится на свои места.

Живой волос

Живой волос водится в болоте за клуней, он есть!

Она не верила в это, как не верила в сказки о русалках и домовых, прыгала по кочкам, стояла по колено в лужах. Он мог вонзиться в ногу, извиваясь, войти в тело, проплыть по венам в сердце или врасти в кость — и шевелиться, шевелиться...

— Я говорил, говорил! А вы не верили! Вот они, волосы дохлых коней, — захлебывается Генка, окруженный изумленными и брезгливыми мальчишками и девчонками. — За шиворот кому, подходи по одному!

В мятой консервной банке кишат черные упругие волосы безглазые и скользкие. Генка наловил их руками в теплой прогнившей лужице между кочек, когда они сплелись клубком.

Злорадный восторг распирает Генку, он бормочет сквозь зубы: «Неженки, чистюли, нюни мамины! Кому за шиворот?»

Если бы только что рожденного Генку поздней осенью занесли в лес и бросили одного, — он все равно бы выжил. Спал бы, как волчонок, в куче желтых листьев, сосал беззубыми деснами осиновую кору и охотился на мышей.

Танька мучительно морщится. Тысячи живых волос шевелятся в ее теле, пальцах, коленках.

— Брось их, брось!

Генка по-батыйски щурит глаза и растягивает губы в жестокой улыбке. Вытянув перед собой руку с банкой, он идет к Таньке. Танька пятится.

Желтая банка с зелеными пятнами, медленно покачиваясь, летит к ней. Четко видно извиваются тугие волосы, один перегнувшись через край скребется о жесть. Движения судорожные, прерывистые.

..На руке у Генки, выше локтя, был шрам, похожий на панцирь черепахи. Когда Танька увидела его еще све-

жим, с коростой засохшей крови, она так и подумала, что это черепаха, всосавшаяся в кожу. Она пыталась не думать об этом, но среди ночи вдруг вскакивала, потому что во сне отдирала от мягкой кожи жесткий панцирь.

А Генка, словно почувствовав, как неприятен Таньке шрам, закатывал рукава рубашки по самые плечи.

Чудилось Таньке, что вместо листьев на клене висят черепахи, готовые молниеносно прыгнуть вниз.

Танькина жизнь, пока у Генки не сошел шрам, была кошмаром...

Медленно плыли к ней живые волосы. Танька почувствовала, что в ней нет костей. Она зажмурила глаза, прижала крест-накрест руки к груди, сжала коленки и нагнула голову. В животе у нее сделалось холодно и щекотно. Она стояла так долго, и звенящая пустота наполнила ее тело.

Когда она открыла глаза — никого рядом не было. Только маленький Лешка собирал маленькому воробью одуванчиковый пух для гнезда.

Генка сидел через дорогу на куче березовых дров. Он ковырял прутиком в своей банке. Была видна его не мальчишески толстая и короткая шея, круглый затылок с белесыми поросычыми волосами.

Пчелиная месть

Наконец-то пчела выбралась из леса, облетела последнюю осину и понеслась, подхваченная ветром, над ковыльной степью.

За кольцом саманных шалашей по запаху и цвету угадывался ромашковый луг. По деловому тысячеразовому звону пчела узнала свой рой.

По лугу бродил белоголовый мальчишка с кожей копченого цвета, весь в красных и белых царапинах. Он осторожно нагнулся над пчелой, собирающей нектар, быстро схватил ее за крылышки, вырвал ногтями жало и, оставив на трусах грозное оружие, теранув о них пальцы, разорвал бедняжке брюшко и высосал сладкое содержимое. Мальчишка, занятый столь гранной охотой, походил на хлопотливого зверька.

Когда пчела пролетала мимо, он замирал, только поводил глазами.

Полосатая села на цветок и углубилась в приятную работу.

Медленно и хищно опустилась рука, большой и указательный пальцы стиснули крылышки. Мальчишка перевернул ее и, высунув вишневый язык, принялся разглядывать мохнатые лапки, брюшко, вращающееся, как кончик шпаги, жало. Пчела рассвирепела.

Охотники за пчелами, как и саперы, ошибаются один раз...

Пчела вырвала помятые крылышки из потных пальцев и, слепая от благородного гнева, бросилась на убийцу. Расплата была молниеносна — жало осталось в розовом языке сластены, пчела улетела умирать на слабеющих крыльях.

Мальчишка захрюкал, согнулся пополам, кувыркнулся через голову и покатился по траве, взбрыкивая ногами.

Его буйное поведение не понравилось пчелам. Ужаленный в шею и ягодницу, мальчишка вскочил и побежал. Когда из жужжащей тучи преследователей пикировала пчела — мальчишка увеличивал скорость. Ноги его мелькали, словно спицы в велосипедном колесе. Он зло отмахивался кулаками от погони.

Мальчишка промельтешил в березовой роще, перепрыгнул жердяную ограду, разбрызгал ручей, протекающий по дну оврага, и нырнул в сосновый сруб, огораживающий родник. С десятков пчел спикировали следом, но увидели там только пузыри.

* * *

Дрожащий мальчишка сидел на солнечной опушке в кузнечиковом перезвоне, поджав под себя ноги, шмыгая носом и покачиваясь.

— Ой, Гена! Ты чего весь мокрый? — спросила его девочка с перевязанной коленкой.

— Каля-маля-баля! — заругался на нее мальчишка.

Язык у него был твердым и горячим, словно только что испеченная в золе картошка. Он не помещался во рту. Рот приходилось держать открытым.

— Ой, Гена, какие у тебя глаза пухлые! — пожалела его девочка и, протянув кулек с конфетами, спросила: — Хочешь, я тебе подушечек дам?

Мальчишка повернулся к ней спиной, чтобы скрыть сердитые слезы.

И девочка пошла прочь, оглядываясь на несчастную спину загорелого мученика.

В лопухах, у плетня, она споткнулась о рыжую дворняжку Пунтю, принявшую пчелиную месть на себя. Собака лежала на боку с открытым ртом. Мордочка ее распухла

от укусов, а в шерсти запутались три сизые колючки и несколько пчел.

— Ой!

Сны

Звезды посылали в холодные стекла рябовато-зеленые лучи. Они транслировали сны.

Генке снилась зима. Он лепил снежную бабу. Не из снега, а из мороженого, толстым слоем лежащего на земле, крышах, ветвях, скворечниках. Слепил и стал есть. Съел и принялся скатывать другую, вырывая из нее пятерней мороженое. Мороженое шипело на языке.

Снился Таньке лес без листьев. Коричневые ветви переплетались густо, как прутья в ивовой самоловке. Идет Танька по нему — и вдруг! — блестящие круги паучьей сети, а в середине сам хозяин шевелится, словно обрубленная волосатая рука. Танька назад — паутина! Влево — паутина! Вправо — паук колышет сеть! Опустила голову... паутина! Танька висит в воздухе посреди самоловки, сплетенной пауками, а сквозь сеть, поблескивающую, видна полость шара из густых сучьев. Стекленеет паучья сеть, каменеют пауки — и вечно висеть вот так Таньке.

А Витьке снилось не поймешь что. Чудо какое-то. Недоразумение. Ему снилось, будто по зеленой траве идет Танька с бидоном молока. Куда-то идет. Идет и идет. С бидоном.

Два солнца и один голубь

Чердак весь золотой от пылинок, летающих в лучах света, которые проникают в слуховые окна и щели крыши. Пахнет голубиным пометом. Голуби воркуют на карнизе. Их не видно и кажется, что эти звуки принадлежат солнечным лучам.

Таня на цыпочках подходит к слуховому окошку, чтобы подсмотреть, что делают голуби — и вздрагивает от неожиданности.

Сначала она не могла понять, в чем дело. Так все неправдоподобно, странно и жутко.

Необъяснимо и неожиданно.

Рябоватый воздух насыщен предчувствием чего-то страшного.

Как изменилось все вокруг! Словно целый день она носила черные очки, а теперь сняла.

Два солнца висят в небе.

Два солнца.

Два...

Еще минута — и все увидят их, и закричат, и будут показывать пальцами. И воздушные волны у горизонта, и стог снега на крыше сарая, и дорога, усеянная соломинками, и тополь — как все странно. Будто она на чужой планете.

Таня застыла на месте, даже дышать перестала, испытывая обезволивающий страх, который бывает, когда тебе приснится, что ты падаешь в бездну.

Красивое, но необъяснимое, а потому жуткое чудо. Она так долго смотрела на два ослепительных круга, что небо стало казаться черным, а голова закружилась.

Таня очнулась от ленивой воркотни голубей. Этот звук казался кошунственным и далеким. Она оперлась о створку слухового окна, и солнце, отраженное в нем, покачнулось.

Отражение!... Всего навсего... Это было странное чувство, в котором переплелись радость пробуждения от страшного сна и грустное сожаление о несбывшемся чуде.

..Это хорошо, что солнце, как прежде, одно, а если бы было два солнца — стало бы теплее, может быть, и зимы бы не было. Или бы они всходили по очереди, и тогда бы ночью было светло, как днем..

Таня высовывается в окно, и небольшая высота кажется ей головокружительной: у штакетниковой калитки стоит в газетной пилотке хулиган Кумар и целится в нее из мяскокалиберной винтовки.

Щелк!

Откуда-то сверху мимо окна пролетел красно-белым пятном мертвый голубь и упал на куст крыжовника

* * *

Таня догнала Кумара у колодца. Молча всхлипывая, она принялась барабанить кулаками по его спине. Он повернулся — левая рука в кармане, в правой держит винтовку и голубя за крыло — сказал почти не разжимая губ: «Кыш!» — и лениво брыкнул ногой.

Они прошли через все село. Впереди Кумар с досадливой улыбкой, изо всех сил старающийся придать своей походке вызывающую безмятежность, а за ним ревушая Танька, повторяющая сквозь всхлипывания: «Зачем ты его убил? Зачем ты его убил?»

В тенистом переулке Кумар повернулся и с дурашливой, злой улыбкой прицелился в Таню. Она отвернулась и закрыла лицо ладошками, долго стояла так, пока Кумар шел вперевалку вдоль плетня со своей добычей.

* * *

Витька вышел на поляну с ведром вишни. В чистых мокрых ягодах отражалось солнце.

В густой зеленой траве паслась корова. В ее треснутый рог когда-то набилась земля. Из рога росла травинка.

Рядом с коровой лежал очень лохматый среднего роста пес без одной передней лапы. Он внимательно и грустно посмотрел Витьке в глаза.

Витька достал из кармана поношенных школьных брюк бутерброд и разломил его надвое. Половину он протянул корове. Она вежливо, одними губами, взяла подарок и так интеллигентно съела, что Витьке захотелось предложить ей салфетку.

Пес с достоинством стоял на трех ногах, и только вздрагивающая култышка да глаза говорили, как он любит хлеб с маслом. Он прижал свою порцию лапой к земле и быстро съел.

Два старых товарища стояли перед Витькой, потому что уйти было бы невежливо. А может быть, они думали, что у него есть еще бутерброд.

Витька подмигнул им, помахал рукой и, насвистывая, пошел своей дорогой.

Ничейный остров

— Где ты так загорела?

— На солнце, где же я загорела?

— На солнце? Ты туда на ракете летала, да?

— Ой, Витька, чего ты смеешься, задавала какой!

— Как ты можешь на меня так говорить, если ты в гостях?

— Ты в реке живешь, да?

— Этот остров мой. Я его открыл и назвал Золотым.

Весь песок здесь — золото. Я могу насыпать целую горсть тебе. На конфеты.

— Какой ты добрый, даже песку не жалко!

— Я тебя выгоню. Чего это ты делась?

— Границу черчу. Я пол-острова захватила.
— Чингисханша! Тогда я тебе объявляю войну.
— Чего ты делаешь?
— Крепость.
— А у меня не лепится.
— Ты песок у самой воды бери, он мокрый.
— Ну, Витя, чего ты? Какие все вы противные, с вами играть — только нервы тратить.

— Чего, чего! Я твою крепость атомной бомбой взорвал. Нервы... Если нервы, то нечего чужой остров завоевывать.

— Ну и подавись своим островом.
— Я не голодный, чтобы песок есть.
— Ха-ха-ха! А говоришь — из золота.
— Ну, из золота... Песок-то золотой.
— А давай одну крепость строить? Большую-большую!
— Как мы ее назовем?
— Золотинка.
— Не... Это ведь крепость, а не девчонка.
— Ой, какая крепостища! Смотри, стена мне по пояс.
— Танька! Ой, не могу! Какая ты чумазая, как поро-сенок!

— Какой ты нехороший, Витя. Обзываешься по-всякому. А сам еще хуже меня грязный.

— Идем ловить налимов?
— Я их боюсь, они скользкие.
— И купаться из-за них на пойдешь?

Таня и Витя бегут по берегу острова, оставляя на песке насыщенном водой, четыре полосы многоточий.

— Догони!

Витька смотрит, куда под водой поплыла Таня, и ныряет наперерез. Таня смеется, изо рта сыплются белые шарики, а волосы колышутся, как водоросли. Ее лицо близко-близко, она как маленькая русалка в этой зеленоватой воде. Витька касается носом ее губ.

Таня выходит из воды, сердитая и холодная. Витька плетется сзади.

— Тань, а Тань...

— Отстань от меня на пять шагов.

Витька отсчитывает шаги и на пятом наступает на осколок зеленой бутылки. Он садится и сосредоточенно рассматривает ранку.

— Ой, Витька, опять покалечился! Давай я тебя перевяжу.

— Да ну еще! Так заживет. Тебя мать за этот бантик отлупит.

- Больно?
- Тань, можно я тебя буду Танчиком звать?
- Дразнить, что ли?
- Ну ты прям какая-то, как бабка Шмычиха.
- Я — бабка Шмычиха, а ты, а ты...
- Ну чего ты все реवेशь? Ну не плачь. Хочешь, я тебе этот остров отдам. Ну, ладно, реви, а я пошел. Вот плакса!

Нырок

Витька бросил камень. Нырок исчез под водой и всплыл у кустика камыша.

Мальчишки торопливо насобирали полные руки камушков. Нужно было угадать, где всплывет в следующий раз птица, и успеть точно швырнуть камень.

Это была увлекательная игра в подводную лодку и береговую батарею.

Камни падали беспрерывно. Выныривая, птица натывалась на всплески, коричневые ввинчивающиеся тени пугали ее под водой.

Нырок молча и беспорядочно увертывался.

Он попытался взлететь. Вытянул шею, захлопал бесполезными крыльями, заколотил по воде лапами.

Мальчишечья игра — жестокая забава...

Острый камень ткнулся в бок, провернувшись, раздвинул перья и оцарапал кожу. Нырок ушел под воду, но быстро всплыл. Голыш ударил в шею. Нырок опустил голову в воду и слабо замахал лапами.

— Хватит!

Чей-то голыш ударился о берег, отскочил, шлепнулся в воду и медленно покатился по крутому каменистому дну, пока не исчез в черноте. Пять камней летело в нырка.

Первый окатил его водой, второй ударил в спину, третий с мокрым хрустом врезался в то место, где клюв срывается в головой, четвертый и пятый не попали в уже мертвую птицу.

...Дома пахло сетями, в сених стояли болотные сапоги отца. В ванне лежала разрубленная надвое щука. С одного конца свисал хвост, а с другого выглядывала раскрытая пасть.

Витька ясно и холодно, до мурашек на спине почувствовал, понял, что эта щука мертва. Раньше до него не доходило, что рыбы умирают. Делали они это, резво прыгая,

красиво сверкая чешуей. А когда зеленым окунькам, которых он приносил с рыбалки в зеленом чайнике, плескали в рот воды, они смешко дрыгали хвостами. Когда они умирали, то не кричали, а глаза у них оставались такими, как и при жизни.

Эта штука была большая, как крокодил, и было ясно — она убита.

...Нырок тоже молчал, только много плескался. А почему он не мог летать? Он, наверное, остался бы на зиму в полынье, как Серая шейка. Витька мог бы взять его домой, а весной выпустить на волю. А чей камень убил его? Нет, не его!

Но он первый бросил. Все убиты, значит, он убил.

А чем бы он кормил нырка, если бы поймал его в проруби?..

Витька бесцельно побродил по двору, вошел в кладовку, закрыл дверь на крючок. Тонкие щели пропускали полосы золотистого дымящегося света. Витька сел на мешок с зерном и заревел.

«Одна копейка по копейке...»

Когда в конце улицы показался на седой лошаденке Дед Рыжая Борода Красные Уши и стоны его телеги навели тоску на всех собак села, Генка Красотин отодвинул доску в заборе, за которым лежала куча утильи. Среди старых утюгов, гнутых водосточных труб, рваных сеток кроватей он отыскал радиатор с золотящимися медными пластинами.

Генка с грохотом выдернул его из металлического хлама, сунул под мышку и вылез в дыру. После чего тщательно прикрыл ее доской, вставив расшатанный гвоздь в старую лунку.

С радиатором он пробежал через огороды, и сочная картофельная ботва с хлюпаньем рвалась у него под ногами, оставляя на икрах зеленые ссадины. Перепрыгнув через несколько плетней, похититель цветного лома степенно прошагал проулок и остановился в березовой рощице, у дороги.

Оглянувшись, он вскарабкался на толстое дерево с корявой корой и вытащил из старого дупла лошадиный череп. Этим черепом он несколько раз стукнул по радиатору.

Телега старьевщика перегорожена фанерными листами на четыре отделения. В одно он складывал цветной лом, в другое — тряпки, в третье — кости, а в четвертом стоял ящик с безделушками и предметами первой необходимости, для обмена.

— Ты опять принес радиатор?— спросил дед Рыжая Борода Красные Уши, остановив свой грустный транспорт.— Где же ты их берешь?

— Где-то беру,— сердито пробубнил Генка.

— Эхе-хе-хе. Генка, ты самый богатый мальчишка. Из тебя выйдет большой человек. Когда меня отвезут за вторые лески, ты займешь мое место...

И старьевщик принялся быстро-быстро считать: «Одна копейка по копейке, две копейки по копейке, три копейки по копейке...»

Это был старый испытанный способ надуть клиента. Дед тараторил так быстро, что при попытке проконтролировать его, голова кружилась от мельтешащих однокопеечных монет.

— Дед,— перебил хитрющую арифметику Генка,— ты дай мне лучше крючки — два на шуку и пять заглотишей.

Старый обманщик потоптался серыми от горячей пыли пимами, открывая серебрящимся ключиком висячий замок на ящике. Коричневая крышка отскочила, и у Генки потекли слюнки. Желтые и серебристо-красные блесны, несколько пригоршней крючков, свернутая в бублики голубоватая леска, складные ножички были аккуратно разложены по полочкам и ячейкам. Тоскливая зависть к старьевщику, хозяину этих сокровищ, вылилась в тяжелый вздох.

Дед торжественно протянул Генке один крючок для жерлицы и два крошечных заглотиша.

«Вот жмот»,— удивился про себя Генка, но из некоторых соображений промолчал.

Да, это был самый денежный, самый предприимчивый мальчишка улицы. Свой доход, главным образом, он умножал тем, что мыл и упаковывал в ящики пустые бутылки на складе в райпотребсоюзе.

Взбалтывая бутылки в бочке с водой, протирая горлышки указательным пальцем, обертывая чистенькие сосуды стружками, он постоянно вращался и видел двор.

Когда случалось, что в его сторону никто не глядел, он быстро и точно бросал бутылки за спину. Они перелетали через забор и падали в мягкий чернозем.

Генка был расторопным мальчишкой и быстро справлялся с работой. А когда, набив карманы бекасиновой дробью, уходил домой, он подбирал бутылки и сдавал их в тот самый магазин, откуда их привозили на склад для упаковки.

* * *

Корова с треснутым рогом и трехногий пес пили воду из подсыхающей лужи.

Генка Красотин шел по дороге, ведя перед собой потертый и заштопанный по шву футбольный мяч. Он перешагнул через мяч, носком левой ноги накатил на пятку правой и перебросил его из-за спины через себя.

До лужи было метров пятнадцать. Генка разбежался и пнул мяч, который звонко и точно ударился в коричневый живот старой коровы. Она неуклюже прыгнула вбок, с чавканьем вытащив передние копыта из воды. Ее рыжий товарищ оскалил желтые клыки и нервно задержал культышкой. Корова посмотрела на Генку глазами невыспавшегося человека и медленно пошла прочь.

Началась интереснейшая из охот. Генка гнался за животными, обстреливая их мячом.

Мяч отскочил от ноги коровы и покатился в лесок. Пес-инвалид бросил преследовать круглого нахала, рыча от справедливого гнева.

Мяч остановился — и собака испуганно отскочила.

Обида на всю жизнь

Распластавшись в белом песке, Витька вспоминал снег.

Два раза он уходил домой, где его ждала окрошка, пахнущая укропом и первой картошкой, но на полпути, у бойни, где надоедливо и знойно жужжали зеленые мухи, его одолевали воспоминания об ощущении полета, когда, нырнув, плывешь по инерции под водой. Ему хотелось снова испытать истому охлажденного тела, почувствовать, как шекочут мягкими губами ноги пескари, как выливается горячая вода из ушей, если жестко попрыгать на одной ноге, наклонив голову набок.

И он, раздеваясь на ходу, бежал к реке. Долго шлепал по мели, оставляя частые «блины», словно рикошетил по воде плоский камень, посланный сильной рукой.

Вода доходила до колен и, забурлив, валила его.

Витька нырял и долго плыл выюном, выставив плотно сомкнутые напряженные ладони. Водоросли щекотали живот, было страшно от черноты, которая скрывала дно.

Витька всплывал и ложился на спину. Он видел пляж в странном ракурсе. Казалось, все эти коричневые человечки, валяющиеся на песке и пинающие мячи, располагались на отвесной желто-голубой стене.

...Витька пересыпал с ладони на ладонь песок и наткнулся на осколок лодки. Дерево долго лежало в золотистой пыли. От него сладко и сухо пахло гнилью древности. Оно походило на какой-то минерал и чуть чуть бахромилось, наподобие моли.

Желтая бабочка медленно махала крыльями на разноцветном фоне глубоких красок неба, песка, зеленого берега. Мелькание желтого, налагаясь на другие цвета, создавало дополнительные свечения.

На быстрине, против течения, плыл парень. За ногу у него была привязана леска, на конце которой искрилась звездой блесна.

Витька блаженствовал, а между тем против него зрел заговор...

Волосатые мускулистые ноги со скрюченными ногтями увидел Витька перед носом: Кумар.

— Эй, лежебокин!

Витьке лестно, что на него обратил внимание такой человек. Если бы у него был хвост, Витька непременно подхалимски помахал бы им.

Кумар берет его за кисти рук и поднимает вверх. Предел удовольствия. Витька наверху блаженства.

А в это время Генка подкрадывается сзади и сдергивает с него плавки.

Кумар бросает Витьку на песок, хватается за живот и начинает умирать от смеха.

Витька почувствовал себя висящим на тонкой ниточке над пропастью. Секундное одеревенение. Хохочут мальчишки. Танькины испуганные глаза...

Весь ужас положения доходит до Витьки: он вдруг в течение одной секунды был противопоставлен всему одетому человечеству.

Генка подпрыгивает на месте, размахивает над головой плавками, как тореадор красным плащом, и ужасно веселится.

...Обида, ненависть и стыд...

Витька бежит, пригнув подбородок к груди, по телам, по одеждам, напрямик к Генке.

Много месяцев лежал в воде обломок березового удилища, он так отяжелел, что тонул как железо. О него-то и споткнулся Витька.

Витька забывает, что каждый день он видит этого мальчишку. Он жаждет догнать и ударить его тяжелой палкой — не важно куда, важно — сильно, со всей силы ударить палкой. Мстительные слезы набухают в его веках.

Они вскарабкались по осыпающемуся глинистому берегу, бегут долго и быстро по вытоптаным тропинкам, колючей траве, продираясь сквозь тальник — и озеро лежит на их пути.

Генка оглядывается, он уже не смеется. Они одни. И Витька догоняет его, чтобы ударить. Все всерьез.

Озеро заросло камышом, колючей травой. Генке кажется, что это спасение. Ноги вязнут в глине, царапается трава, в груди сухо и больно. Тяжелый, безнадежный всплеск. Красотин падает в воду, как на кровать, чтобы отдохнуть, отдышаться от бега. Но вода тяжела и вязка, как кисель, а сзади, не обратив внимание на брошенные плавки, бежит на деревенеющих ногах по воде Витька.

Много травы. Она опутывает руки и ноги. Генка запрокидывает голову, чтобы не захлебнуться. Они на середине. Только двос. Не плывут, а барахтаются. И преследователь, и преследуемый, обессиленные погоней, тонут. Они плывут рядом, кашляют, выплевывают воду, тяжело дышат.

Где-то далеко-далеко, намного отстав и потеряв их след, бежит по колючей траве Танька и все кричит, озираясь по сторонам: «Мальчишки! Где вы, мальчишки?»

Они плывут медленно, по-собачьи, подталкивая друг друга. Выходят на берег, долго стоят друг против друга. Они смотрят как-то странно, тяжело дышат, они смотрят без ненависти и страха, просто смотрят в глаза друг другу. Генка садится на землю, потом ложится и, облегченно вздыхая, закрывает глаза. Витька ложится рядом.

Они мальчишки. И впервые несколько минут были серьезны, очень серьезны. Они живут на одной улице, но будут врагами до тех пор, пока все только что случившееся будет казаться им серьезным, пока Витька, вспоминая пляж, будет морщиться от тяжелого древнего стыда, пока Генка не забудет тот страх преследования, ту тяжелую палку, которой Витька хотел ударить его.

Так бывает. Все хорошо, лучше не придумаешь, и только остается громко рассмеяться от привалившего счастья, но вдруг... Это вдруг всегда неожиданно, в одну секунду зачеркнет все, а тебе остается спрятаться от всех в самой середине сочной ботвы картофельного поля и, уткнувшись мокрым носом в изгиб локтя, предаться горестным воспоминаниям. Как скверно все получилось! С бессильной, а потому мучительной злобой рисовать в своем воображении мстительные картины расплаты.

Черные ягоды подозрительного паслена, собранные в горсть, на предмет полакомиться, Витька швырнул на землю. Он лег на спину и уставился в небо.

Так он лежал долго. Звезды высыпали, как грибы после дождя, а он смотрел на них мрачно и мстительно.

Небо горело, а звезды делались словно бы ближе. Они казались язычками пламени, шевелились. Витька пригляделся — так и есть! — все они золотые муравьи.

Звезды медленно сползались к Полярному муравью. Из своих копошащихся угольных тел они образовали правильный круг, который разом вспыхнул, все осветил.

И тогда Витька увидел, что небо — из голубых муравьев, а лес — из зеленых. Все они суетились, спешили, но солнце, небо и лес оставались в своих рамках.

Витька посмотрел на свои ноги и ахнул: он тоже был из этих муравьев.

Его тело росло, но он отделился от него крошечным муравьем. Гладкая кожа становилась корявой, поры увеличились до огромных дыр. Образовались пустоты, и что-то замерцало в них.

Это горели звезды.

Он опустился на маленькую планету. На ней росли цветы и ползали муравьи.

Витька представил себя большим Человеком из звезд и планет. Может быть, сейчас он не заметил, как раздавил пяткой малюсенького муравьяныша...

А в этом муравье горели солнца, вспыхивали сверхновые звезды, вращались планеты, и на одной из них крошечные существа пытались ответить на вопрос: есть ли еще разумная жизнь во вселенной или они — исключение.

А может быть, в нем на какой-то крошечной планетке через час начнется атомная война.

Вот ползает муравьяныш, тащит гусеницу, сам не зная куда, а в нем — тысячи жизней. Ворочаются в болотной

жиже какие-нибудь ихтиозавры, великий музыкант исполняет свое произведение, плачет малыш, потому что никак не может поймать солнечного зайца, а какой-то мальчишка лежит на картофельном поле: горе его безутешно, обида незабываема — ему кажется, что в этом мире он — исключительное явление. В этом огромном муравьином мире В муравье — все.

Яркие пламенно-красные муравьи копошились в огромном искрящемся муравейнике. Звезды, догадался Витька, — это солнце врозь, а солнце — звезды вместе.

* * *

Витька проснулся, и в первый момент картофельная ботва, нависшая над ним, показалась ему тропическим деревом. По черному небосклону поднималась горящая точка, озаряя ночь световым крестом.

Где-то совсем рядом был ракетодром.

Витька сел. Теплый влажный востер покачивал звезды словно елочные игрушки. Они едва заметно колебались, поблескивая. От летящей точки отделилась точка поменьше и стала отставать.

На августовском небе среди водорослей-туч и звезд-плотвичек засверкал блесной новый спутник, и Витьке показалось, что луна, словно ленивый сом в омуте, чуть шевельнулась, а по небу пошли круги.

Ржавый гвоздь

С мокрым звуком лопнула кожа, и гвоздь вошел в ладонь. Витька повис на заборе.

В саду кто-то неторопливо шел по дорожке между яблонь. Витька чувствовал, как щекотно стекала теплая струйка между жилок.

Он перенес тяжесть тела на правую руку и вытянул левую вверх. Ржавый гвоздь обломился, и Витька спрыгнул на землю.

Витька казался себе неуязвимым, но торчал в заборе хрупкий ржавый гвоздь, теперь он — в его руке.

Сколько ржавых гвоздей, неожиданных подножек, подводных ям ждет его, а он защищен от всех напастей только тонкой кожей, словно завернут в газету.

Танька прижала свои ладони к вискам, и яблоки, которые

Витька перебрасывал через забор, а она складывала в подол, просыпались в пухлую пыль. Она очень ясно ощутила, как повернулся, шелушась ржавчиной, гвоздь в ее ладони, и сдвинула это место ногтями изо всех сил.

Из середины красного пятна пыльного яблока выполз белый червь и, складываясь, полез вверх.

Кожа над гвоздем припухла и посинела.

— Витька,— прошептала Танька с ужасом,— у тебя заражение будет. Беги в больницу.

Но в больницу он идти не мог, потому что там работала его мама. Витька хорошо помнил, как два года назад его катали на раме велосипеда, как он попал ногой в спицы переднего колеса, и что потом было с ней.

— Витька, беги в больницу.— лицо у Таньки испуганное и растерянное, а из левого глаза, как-то очень тихо и самостоятельно, выкатилась слезинка.

Генка Красотин проходил мимо на рыбалку. Он остановился, потрясывая удилишками, издали разглядывая Витькину ладонь.

— Ты пососи,— посоветовал он.

— У него там гвоздь остался,— поморщилась Танька.

— Нужно вытащить: кожу прорезать, а потом промыть.

— У тебя есть ножик?

Генка прислонил удилища к забору, вытащил из кармана екладшок и, на ходу раскрывая лезвие, подошел к ним.

Он повернулся к Витьке спиной, взял под мышку его руку и, склонившись над ладонью, буркнул Таньке:

— Подержи его.

Таня обняла левой рукой Витькину шею, а правой уцепилась за локоть. Они опустились на колени.

Генкина спина горбится и вздрагивает от судорожного вдоха.

После каждого удара сердца гвоздь в ладони раскаляется и не успевает остыть, как новый прилив крови опалает ранку.

Генка все ниже склоняется над рукой.

— Ну что же ты?— шепчет Таня и сжимает Витькино горло.

Витька чувствует, какая она слабая, как стучит ее сердце, как она дышит. И ему на секунду становится жаль ее. Он забывает на эту же секунду, что собирается сделать с его ладонью Генка, потому что Танины волосы шекочут ему шею.

Генка прерывисто вздыхает:

— Может, так заживет?

— Как же заживет, если гвоздь ржавый?

— А может, он сам? Один врач сам себе аппендицит вырезал. Я читал.

— Ты представь себе, что рыбу потрошишь.

— Сам представь.

— Чего же ты?

— Сама режь.

Таня ойкнула. Она поднимается, на ее коленках прилипли пылинки и мелкие веточки.

Она берет у Генки складной нож с костяной ручкой и тонким лезвием. Она откидывает волосы с глаз.

Она видит только кончик лезвия, который опускается к дырочке на ладони.

Ей кажется, что ладонь эта — се.

Кончик лезвия... Очень просто... Как распотрошить карася... Ржавый, ржавый гвоздь... Ржавчина в Витькиных венах... Нужно все сделать быстро... Быстро, а то не смогу.. Прямо, прямо по линии жизни.

— Ой-й-й-й-й-й!

— Ну чего ты нюни распустила, — гудит в нос Генка.

Витька, закусив губу, двумя ногтями сжимает конец гвоздя. Гвоздь весь ржавый. Сердцевина с иголку. Кровь из ранки течет сильнее.

Таня сидит, прислонившись к забору, и смотрит на яблоки в пыли. Генка нагибается и берет из ее рук нож.

Они уходят с Витькой за угол.

— Чего ты? — испуганно спрашивает Витька.

— Сейчас щипать будет, но зато заражения не будет Я знаю, — бормочет Генка.

Упругая струя пенится в Витькиной ранке.

«Откуда они воду-то взяли?»

* * *

Таня подошла совсем близко, но ни корова, ни пес даже голов не повернули, только стайка жирных скворцов слетела с коровьей спины.

Два друга дремали на порыжевшем лугу.

Травинка на треснутом роге раскачивалась и шуршала. Она стала светло-зеленой и сухой.

Из глаз пса по длинной унылой морде тянулись две бороздки. Он плакал от жары и слепящего солнца. В жаркую погоду пес дремал и плакал.

Таня хотела погладить бархатный коровий бок, но ее смутила травинка, растущая из рога



Жил-был красивый зверь



Исеред ужином вожатая отвела Маратика в сторону и сказала:

— Раз такое дело, ты не пей на ночь компот. От этих слов он сквозь землю готов был провалиться. Но какой силой воли нужно обладать, чтобы отказаться от компота?!

Ничего не случится, если он сделает один маленький глоточек... Или два... Еще один — и все! Воробьиными порциями Маратик осушил стакан холодного кисло-сладкого напитка.

Серебряноголосый горн проиграл отбой и наступило время раскаяния. Ну зачем он выпил компот, и кому нужна эта ночь!

Хорошо бы сейчас убежать в заполярье, где все лето не заходит за горизонт солнце. «Не буду спать», — решил Маратик и, чтобы не заснуть, стал сочинять стихи о далеком крае вечной зимы, о белом медведе, плывущем на прозрачной льдине, который забыл, что такое звезды.

«Странно,— подумал Маратик,— полгода светит солнце, а льды не тают...» Невидимый самолетик наполнил его тихим звоном и на легких крыльях унес в звездное небо, проваливаясь в воздушные ямы сна.

Ему приснилась вожатая. Она укоризненно качала головой и строго отчитывала его: «Я предупреждала тебя: не пей на ночь компот...»

Маратик открыл глаза. Сквозь занавешенные голубым ситцем окна вползало серое безучастное время. Был тот тоскливый неопределенный час, когда утро еще не наступило, а ночь уже кончилась. Под теплыми одеялами из верблюжьей шерсти безмятежно спали мальчишки его отряда. И вместе с ними дремал ужасный, неотвязный смех. Как было бы хорошо, если бы эта ночь никогда не кончалась.

Стараясь не скрипнуть кроватью, Маратик поднялся. Натянул на мокрые трусики штанишки, надел рубашку.

— Куда собрался?— сонно окликнул его толстяк по прозвищу Фрося.

Маратик от неожиданности вздрогнул.

— Опять поди устроил потоп,— недовольно пробормотал Фрося, погружаясь в сладкую истому сна.

Закусив губу, Маратик зашнуровал кеды. Достал из тумбочки очки и фотоаппарат. На цыпочках прошел он мимо счастливых ровесников сквозь пятнадцать таинственных снов к раскрытому настежь окну.

* * *

Между сопки над маленькой речкой застрял клоч белого тумана — остаток облака, спавшего ночью на мягких волнах переката. От сумрачного осинника, росшего на противоположной стороне, тянуло грибной прелью.

Маратик закатал выше колен штанины и, не снимая кеды, чтобы не колоть ноги об острые камни, вошел в холодную, как из колодца, воду. Потревоженные в столь ранний час черноспинные пескари лениво уплывали с мелководья, словно растворяясь в темной глубине. На середине, подскользнувшись на гладком камне, Маратик упал. И до того он обиделся на этот коварный камень, на эту речонку за утреннее купание, что не мог сдержать слез. А на берегу колющий боярышник исцарапал ему руки острыми шипами...

Чавкая кедами, по крутой тропинке, выбитой козлиными копытцами, Маратик вскарабкался на вершину сопки.

Внизу, над белым туманом, застилавшим русло речки, словно на облаке, стояли, прижавшись к покатоному боку

Ковыльной сопки, домики их лагеря. Казалось, они тихо поспавывали во сне.

Маратик разыскал глазами окно с букетом полевых цветов, за которым спала сейчас золотоволосая девочка Валя. Трясаясь в мелком ознобе, он стоял и смотрел на эти цветы, пока туман не заалел от утреннего костра зари и не поплыл между берегов.

— Замри, мой солдатик,— прошептал мальчик еще невидимому из-за сопки солнцу,— я приказываю тебе не всходить!

Но в прибрежных зарослях чернотала уже защелкали и zaseбетали птицы, радуясь рассвету.

Кто он такой, чтобы его слушалось солнце? Никому в этом мире до него нет дела. Даже родителям, которые отправили его в лагерь, чтобы он не мешал им отдыхать на юге. А ведь они знали, знали, что ему нельзя было ехать сюда...

В расщелине между камней Маратик нашел сочный кочанчик заячьей капусты. Дикорастущий злак кислил, как лимон. Это был вкус наступившего утра, вкус отчаяния и стыда.

«Замри, мой солдатик» — так называется игра, которая держится лишь на честном слове.

Близорукому и рассеянному Маратику не везло. Юрка Куманев всегда первым выкрикивал эти магические слова — и Маратик становился его солдатиком, готовым исполнить любой приказ. Когда все мальчишки играли в футбол, он стоял за воротами и бегал за мячом. «Принеси, позови, найди», — приказывал Юрка, и Маратик приносил, звал, находил. Его так и прозвали Адъютантом. Но самое неприятное было писать стихи по заказу. Юрка переписывал их собственноручно и через Маратика передавал Вале.

А вчера, когда Валерка разговаривал о чем-то с Валею, Юрка приказал Маратику спеть им глупую дразнилку: «Жсних и невеста спекли себе тесто...»

Валерка был умным и справедливым мальчишкой. «Не бери себе в голову,— говорил он Маратику, когда над ним потешались все кому не лень.— Человек виноват, когда делает что-то плохое нарочно. Человек не виноват, если что-то происходит помимо его воли. Это у тебя возрастное. Это пройдет. Не теряй достоинство — не обращай внимания на дураков».

Маратик очень уважал и Валею и Валерку, но разве мог он нарушить правила игры?

А Юрка только и ждал момента, когда его подсадная утка получит по шее. Он бросился на защиту слабого и повалил Валерку на землю, у ног Вали... Куманев предстал в глазах прекрасной дамы благородным рыцарем, опекуном малокровных очкариков. А Маратик... Маратик стал провокатором и предателем.

Что было делать? Маратик решил воспользоваться правилами игры, чтобы восстановить справедливость.

Юрка усердно пытался, подтягиваясь на турнике. Маратик подкрался к нему и закричал:

— Замри, мой солдатик!

— Чего тебе?— замер по условиям игры Куманев.

— Приказываю извиниться перед Валей и Валеркой. Отомри!

Юрка спрыгнул на землю и сказал, лениво разминая пальцы:

— Я этого делать не буду.

— Так не по правилам,— возмутился Маратик.

— Плевать я хотел на твои правила. Ну, ладно,— смиловился Куманев,— подтянешься десять раз на турнике — пойду.

— Так не честно!

— Ну, смотри...

Маратик подтянулся всего три раза.

— Слабак!— снисходительно похлопал его по плечу Юрка.— И вообще ты мне надоел. Я с тобою больше не играю. Брысь!

...«Замри, мой солдатик!— сказал сам себе Маратик, когда огненная макушка солнца выглянула из-за сопки.— Я приказываю тебе идти вниз по реке, куда уплывает туман, и не плакать».

По середине реки плыло перышко неизвестной Маратику птицы.

Когда человек не знает, куда и зачем идет, это видно сразу. В дороге нужны цель и попутчик. И беглец пошел за перышком.

Это, конечно, все сказки про перо жар-птицы. Но, когда дом на замке, когда человек избрал преступную свободу, хочется верить в волшебство.

Чем дальше уходил Маратик от лагеря, тем шире становилась река и все медленнее плыло перышко. В полдень за очередным поворотом сопки словно раздвинулись, и речка кончилась. Точнее, она влилась в большое, как море, водохранилище. Синевя воды незаметно переходила в цвет неба — и такой бесконечный простор открылся перед

Маратиком, что ему показалось, будто стоит он на краю земли.

Перышко все дальше уплывало от него в эту бескрайность навстречу одинокой лодке. Скрипели уключины, и веселый лодочник ломающимся баском пел уличную песенку:

...Мальчишка синеглазый.
Мальчишка озорной,
Кудрявый, весь в веснушках
С бедовой головой.
Форсил татуировкою,
Нырлял в разрез волны
И рваною веревкою
Подвязывал штаны...

Лодка поравнялась с Маратиком, и он увидел мальчугана, очень похожего на того, о котором пелось в песне.

— Эй, очкарик, закурить есть?— крикнул незнакомец.

— Я не курю.

— Правильно делась!

Эти слова мог сказать человек, много повидавший на своем веку.

На самом деле, если лодочник и был старше Маратика, то от силы на год не больше.

— Щелкни меня!— попросил мальчишка, заметив в руках у Маратика фотоаппарат. Он подгреб поближе и принял позу старого морского волка.

Фотограф не заставил себя долго упрашивать. Снова заскрипели уключины, и над водой понеслась лихая и одновременно щемящая песня.

Маратик нерешительно потоптался на месте и поплелся по гремящему щебню за уплывающей лодкой.

Так они и двигались каждый сам по себе, пока за очередной сопкой не открылся желтый, словно покрытый осенними листьями, пляж. Певец красиво затабанил, под веслами забурлила вода, и лодка круто повернула к берегу.

Незнакомец был огненно-рыж, весь в веснушках, словно загорел сквозь сито. А глаза его неистово синели двумя брызгами штормового моря.

— Привал!— скомандовал он сам себе и представился:— Санька.

Но Маратик уже знал и имя его, и фамилию, и даже то, что у незнакомца есть дедушка, причем дедушка щедрый: на борту лодки ножом была вырезана дарственная надпись: «Любимому внуку Александру Розгачеву на память».

— Марат,— пожимая Санькину руку, сказал беглец.

— Ну-ка, Маратик, организуй хворост!

Марат привык к тому, что рано или поздно его называли Маратиком и начинали им командовать.

Санька развел костер под высохшей до голубизны корягой, подвесив на обломок корневища прокопченное ведро. В закипевшую воду он бросил десяток нечищенных и непотрошенных окуней, поделившись при этом кулинарным секретом: «В чешуе, Маратик, как раз самые витамины».

Передавая друг другу ложку, мальчишки по очереди вылавливали разваренных окуней и хлебали горячую воду. На зубах скрипел песок, прилипший к хлебу. Ничего вкуснее за свою жизнь Маратик не ел и поэтому с уважением поглядывал на Саньку, дивясь его поварскому таланту.

Едоки разлеглись на прокаленном песке возле невыносимо жаркого костра под немилосердно палящим солнцем. Они млели от жары и блаженно потели. Ложка быстро переходила из рук в руки, пока полведра кипятка и белоглазые окуни поровну не распределились у них в желудках.

— Эй, сейчас бы арбуз слопать,— переваливаясь на спину, мечтательно пропел Санька и с таким вожделием погладил округлый живот, что Маратик облизнулся. Он представил разломленный пополам арбуз, покрытый холодной росой, и мысленно съел сначала одну половинку, а потом, не удержавшись, отведал и вторую.

В знойной тишине застрекотал кузнечиком далекий мотоцикл. Санька поднялся на колени и застыл в позе суслика прислушиваясь. А Маратик заметался по берегу в поисках убежища. Но вокруг был лишь песок. Подъедет сейчас Санька и спросит: «Куда же ты, ежик, лыжи наострил?» Посадит его на свой мотоцикл и увезет к Ковыльной сопке, где над ним будут смеяться все кому не лень — и толстяк Фрося, и Юрка, и Валя...

Санька с удивлением наблюдал за странным поведением нового знакомого.

— Из лагеря сбежал?— осенило его.

Маратик печально кивнул головой.

Санька опустился на четвереньки и по-собачьи, руками и ногами, принялся отшвыривать из-под себя песок.

— Что глазеешь?— заворчал он на растерявшегося беглеца.— Помогай!

Через минуту Маратик был погребен. Разровняв место захоронения и припорошив сырой песок сухим, Санька вы-

плеснул из ведра остатки ухи и накрыл им торчащую из песка голову. Набросив на фотоаппарат свою рубашку и пошвыряв в костер рыбы кости, хитрец лег на спину и притворился спящим.

А Сан Саныч уже катил по вершине сопки и, как Илья Муромец, из-под ладони осматривал окрестность. Увидев лодку и мальчишку, по-кошачьи развалившегося у костра, он ринулся вниз. Шины мотоцикла на вираже глубоко впахали песок возле ног Маратика.

Из гулкой черноты погребенный услышал следующий диалог.

— Мальчик, ты давно здесь?

— Я вам не мальчик.

— А кто же ты — девочка?

— Мальчиков мамы за руки водят.

— Ты посмотри какой ежик! Не из Двойников будешь?

— Разве не видно откуда?

Санька не любил врать. Когда ему невыгодно было говорить правду, он просто отвечал туманно: понимай как хочешь.

— Почему не видно? Видно. У тебя все на лбу написано, — сказал Сан Саныч и спросил озабоченно: — Не проходил ли здесь мальчик? Худенький такой, черненький Шрамик над левой бровью...

У Маратика от этих слов зашекотало в ноздрях. Хотя шрамик был не над левой, а над правой бровью, его до слез взволновало, что Сан Саныч запомнил эту крошечную примету.

— Где же его искать? — вздохнул Сан Саныч. — Как сквозь землю провалился.

Маратика мучила совесть. Он представил, что лежит в самом центре планеты, откуда ему уже никогда не выбраться, а бедный Сан Саныч так и будет всю свою жизнь колесить на стареньком мотоцикле по всем континентам.

— Кстати, он носит очки...

Директор лагеря произнес эти слова так многозначительно, что Маратику стало не по себе.

А Сан Саныч в это время очень подозрительно разглядывал забытые впопыхах очки. Но Санька был стреляным воробьем. Даже такая явная улика не могла смутить его. Он не спеша поднял очки и, оттопырив мизинец, утвердил их на собственном носу. Вмиг Сан Саныч превратился в расплывчатое пятно. У Саньки слегка закружилась голова.

— Если в очках, так и не человек! — туманно изрек он.

— Я сказал что-то обидное?— удивился мотоциклист. Значит, не видел... Ну что же, ежик, извини за беспокойство. Хорошего тебе клева!

Мотоцикл взревел, и вскоре его удаляющийся треск растворялся в тишине.

Выбрался Маратик из своего убежища весь мокрый, потому что внизу песок был насыщен водой.

— Хоть немного на человека стал похож, а то вырядился, как на первое сентября,— удовлетворенно заметил Санька и, передавая очки, сказал:— Ты, оказывается, совсем слепшарый.

Насвистывая, он поднял рубашку, сложил в ведро ложку и хлеб.

— Привет родителям!— попрощался Санька, направляясь к лодке. Маратик загрустил.

— Сань, а Сань, возьми меня с собой...

Санька критически осмотрел беглеца.

— Нам не по пути. Я далеко плыву.

— Чем дальше, тем лучше,— вздохнул Маратик.

— Вот чадо! Навязался же ты на мою голову.

Взгляд путешественника задержался на фотоаппарате, и он, круто изменив решение, махнул рукой:

— Язык за зубами держать умеешь? Ладно! Прыгай в лодку.

— Сань, а куда мы плывем?

— Тебе не все равно?

— Нет, правда?

— На кудыкину гору.

* * *

Маратик плыл на правах контрабандного груза. Он свернулся калачиком на дне лодки, а сверху, чтобы не заметили с берега, Санька накрыл его влажным куском мешковины. В маленькую дыру Маратик смотрел на кусочек синего неба, слушал, как плещется о борта вода, скрипят уключины, и, словно передразнивая их, кричат чайки. Размеренный веселый ход лодки и песня гребца убаюкали его. Он заснул.

...Разбудили его холодные брызги.

Стаи хищных волн раскачивали лодку. В бамбуковых удилищах свистел ветер. Косматая темная туча на синих ногах дождей догоняла суденышко и, словно браня Маратика, гремела далеким громом. А незнакомый мальчишка с перепутанными ветром рыжими патлами раскачивался,

как ванька-встанька, и, ударяя веслами под белые гребни водяных валов, плел во всю глотку:

По морям, по полям,
Нынче здесь, завтра там.

— Смотри,— закричал он, обращаясь к Марату,— я оседлал волну!

И Маратик сразу вспомнил события сегодняшнего дня: и то, как он сбежал из лагеря, и то, что мальчишку зовут Санькой.

— Ага! Боишься, когда страшно?!— весело заорал гребец

Маратику действительно было очень страшно среди этих озверевших сине-зеленых волн, каждая из которых только и мечтает о том, чтобы потопить лодку. Он с надеждой смотрел на отчаянного гребца, который, словно коня, мог запросто оседлать волну и лихо прокатиться на ней верхом.

Есть мальчишки лесные. Им известны тайны березовых колков, грибные и ягодные места. Таких мальчишек воспитали бабушки. Есть мальчишки степные, озерные. Санька был речным мальчишкой, потому что воспитал его дедушка — старый рыбак, подаривший внуку лодку. Маратик был домашним мальчишкой. Его воспитывала мама. Он не умел плавать, не умел ориентироваться на местности. Единственно, что он умел — быть послушным...

Волны несли их к скалистому берегу. Вода за кормом закипела от набежавшего ливня.

Санька ловко направил лодку в маленький заливчик. Мальчишки вытащили ее на покрытый щепнем берег и побежали искать убежище от дождя.

Цепляясь за жилистые стволы маленьких березок, они вскарабкались по мокрым камням на вершину сопки и за густой занавеской дождя увидели множество квадратных ям. Одна из них была накрыта брезентовым полотнищем.

* * *

В яме было темно и сухо. Дождь так рьяно хлестал по брезенту, что Маратику казалось, будто они с Санькой находятся внутри кипящей кастрюли.

— Сань, здесь какие-то палки,— Маратик нащупал рукой что-то твердое и словно бы отполированное.— Разожжем костер?

— Не тобой положены — не тронь!— сурово одернул его Розгачев.— Я спички в лодке забыл.

— Размокнут.

— Не размокнут, они в полиэтиленовом мешочке.

— Сань, а Сань, ты не рассердишься, если я тебя спрошу...

— Спрашивай, чадо, — разрешил Санька и заметил неодобрительно: — Ты такой вежливый, прямо как девчонка

— Сань, куда мы плывем?

— Ладно, слушай, — таинственно зашептал Санька.

Женька Кумов, известный среди мальчишек Новоильинска под прозвищем Кум, личность, надо прямо сказать, бесцветная, к тому же хвастун, нашел бивень мамонта. Находку, больше похожую на окаменевшее бревно, отвезли в областной краеведческий музей. Местная телестудия живо откликнулась на сенсационное событие двухминутным сюжетом в «Новостях Принимья», и вся область смотрела, как заикался и шмыгал носом Кум, отвечая на вопросы корреспондента.

В час, когда Женька достиг вершин славы, его одноклассника Розгачев потерял от зависти аппетит.

Право же, этот Женька относится к тому разряду людей, которым всегда везет.

Кто больше всех пропадал на Конной старнице, не пропуская ни утреннего, ни вечернего клева? Санька. Но не под ним, а под Кумом обвалился подмытый дождями берег, обнажив то, что так долго таил от людей, более достойных, нежели Женька. У кого из новоильинских мальчишек хранилась самая богатая коллекция газетных вырезок о снежном человеке? Кто искал клады на заброшенных аулищах? Кто, наконец, днями лежал на крыше и смотрел в небо, ожидая прилета инопланетян. Конечно, Санька...

Несправедливо как-то получается. Один чего-то всю жизнь ищет и ничего не находит, а другой находит то, чего и не ищет.

Санька, как и все в его возрасте, был фантазером и непоседой, но в отличие от большинства сверстников свои замыслы тут же воплощал в жизнь. Другое дело, что получалось совсем не то, чего он добивался. И в результате сочетания всех этих прекрасных качеств за Санькой утвердилась малопочетная репутация хулигана. Судите сами. Увлекательная идея реактивного велосипеда обернулась скандальным взрывом. Одноклассник Димка Коршунов лишился «Орленка», а сам только чудом остался жив. Во время икромета с тем же Димкой они потопили двенадцать браконьерских сетей, перегораживавших заливчики-нерестилища. Оказалось, что пять из них принадлежали рыболовецкой бригаде. После этого случая Димкины родители

запретили сыну водиться с Санькой. И это была не самая большая неприятность... Санька понес наказание, но так и не понял, какая разница в том, где погибнут миллионы будущих мальков, которые так и не выведутся из икринок: в сетях настоящих браконьеров или в сетях профессионалов, которых охраняет закон.

Ох, и рассердился рыбак Антипов. «Это нашкодил Рыжий из Оторвановки», — решил старик. И как в воду глядел.

Суров был Антипов, но справедлив и отходчив. Пришел в гости, накрутил Саньке уши и, отведя душу, говорил таковы слова: «Что с тебя взять, безотцовщина. Сердце у тебя доброе, а голова худая. В отца непутевого, видать, Алютья, внук пошел. Совсем бесшабашный». «И не говори, дум, всхлипнула бабушка, — при живых отце-матери — широта. Был бы дед жив...»

О родителе своем Розгачев мог сказать одно: если верить отчеству, звали его Василием.

Спросил однажды Санька у деда:

— Какая у меня настоящая фамилия?

Дед рассердился:

— Ишь ты — настоящая... Розгачев твоя фамилия. Самая что ни на есть настоящая. Такую фамилию, как флаг, гордо нести надо. До нее тебе расти и расти. В нашу фамилию из фашистских автоматов палили. Фамилия у тебя настоящая — тебе бы таким настоящим стать...

Работал дед охранником на плотине. Санька дневал и ночевал в его стéкланной будочке. Из нее открывался обзор на все четыре стороны света. В суровых берегах с каменистыми обнажениями синело Степное море. Широкий и длинный мост круглые сутки содрогался от гула машин. В солнечные дни в тумане мельчайших брызг, поднимающихся над ревущим водопадом, горела чистая радуга. А над ней кружили чайки и голуби. Вся плотина была в голубиных гнездах. Птицы обжили бетонные выступы и выводили птенцов над пенистым водопадом.

И Санька рос в дедовском гнезде. На электроплитке кипел чайник. Старый карабин висел на гвозде рядом с брезентовым плащом. А дед с внуком сидели за скрипучим столом, посматривали из своего стеклянного скворечника на плотину и беседовали.

— Деда, а как настоящим стать? — спрашивал Санька.

— Настоящее дело надо найти. Такое дело, чтобы от тебя польза была.

— А где его искать-то?

— Оглянись-ка вокруг.

Посмотрел Санька на все четыре стороны света, а дед и говорит:

— Вот здесь и ищи.

— Деда,— спрашивал Санька,— а почему у тебя нога не настоящая, деревянная?

— Меня, брат, всю войну по частям хоронили. Два пальца под Сталинградом оставил, под Прагой ногу похоронил. Хоронили меня, хоронили, а я, видишь, живой. Бессмертный, похоже...

Не бывает бессмертных людей. Только фамилии бессмертны. Остались на память Саньке от деда фронтовые были, лодка с дарственной надписью да рыбацкие секреты.

После смерти деда мама уехала на далекую стройку, наказав бабушке и Саньке присматривать друг за другом: «Устроюсь. обзаведусь углом и перевезу вас к себе». «Ты еще молодая, бог даст, счастье свое найдешь»,— проследзила на прощанье бабушка. «Ну, о чем ты говоришь»,— укоризненно покачала головой мама.

Через год она приехала с новым мужем. Хорошим человеком оказался Павел Терентьевич, но Санька с ним так и не сошелся. И мама, и бабушка требовали, чтобы он называл его папой. Санька пытался — и не смог. Может быть, потому, что требовали. Бабушка наотрез отказалась ехать с молодоженами: «Стара я. Куда мне от своих могил уезжать?» А куда было ехать Саньке от бабушки?

Кто сй картошку посадит да выкопает, кто сено для коровы накосит?

Так они и остались вдвоем.

* * *

Рано или поздно придет день, когда прошелестит стоптанными кедами под окнами твоего старого дома муза дальних странствий. И вдруг мгновенно опостылят тебе такие знакомые, такие любимые вещи — резной наличник, певучая калитка, скворечник, который ты смастерил своими руками. — а вид из окна вызовет отчаянное желание зевнуть.

Санька помешался на мамонтах. И вскоре заведующая читальным залом районной библиотеки с негодованием обнаружила, что в одном из номеров популярного молодежного журнала недостает двух листов. Библиотекарша заглянула в оглавление. «Вымерли ли мамонты?» — спрашивал автор похищенной статьи.

А в это время злостный потрошитель периодической печати сидел на днище перевернутой лодки и в глазах его,

отражающих манящую синь водохранилища, светилось острое нетерпение перелетной птицы.

Автор статьи бойко писал о явлениях таинственных и загадочных. Человек вышел в просторы космоса, проник в глубины океана, но мы еще мало знаем нашу старушку Землю, утверждал он. И предполагал, что где-то в неизведанной глуши и поныне бродят косматые исполины...

В почтовом ящике лежало письмо от мамы. Письма приходили не часто, и чтение их сопровождалось ритуальными действиями. Неграмотная бабушка застилала стол праздничной скатертью, накидывала на плечи цветастую шаль и торжественно, словно на трон, усаживалась на расшатанный табурет. Санька начинал читать, и бабушка его одергивала:

— Гонятся за тобой, что ли, торопыга?

В последнем письме мама сообщала, что у Саньки появилась сестренка. Как ни радостна была новость, но бабушка отчего-то принялась вздыхать и тереть глаза углом платка, да и у Саньки запершило в горле. Пришлось прервать чтение и хорошенько откашляться.

В каждом письме мама приглашала их в гости. Бабушка всегда всхлипывала:

— Кабы рядом... Не ближний свет... Эвон куда укатила

На этот раз к обычному приглашению была сделана приписка: «А если не сможешь сама, отпусти Сашу. Парень он уже большой. Пусть приедет, посмотрит сестренку».

Письмо было коротенькое, счастливое. Ничего в нем обидного не было, но Саньке отчего-то стало обидно.

— Надо тебе ехать, внучок,— сказала бабушка.

Вечером она пришла к Санькиным джинсам потаинной карман и спрятала в него деньги. А утром, перекрестив внука и автобус, отправила Саньку в дальний путь.

Но вместо того, чтобы доехать до областного центра и пересесть там на поезд, Санька сошел на первой же остановке, у плотины. Достал из тайника весла и рыболовные снасти, столкнул в воду лодку. Горбатые сопки призрачно темнели сквозь туман. Казалось, что это мамонты пришли на водопой.

* * *

— Сань, а я читал, что мамонты вымерли,— сказал Маратик, когда, пересказав содержание журнальной статьи, замолчал его новый друг.

— Вымерли, вымерли, — передразнил его Санька. — Вамамонта на веревочке приведи, вы и тогда не поверите.
— А где ты их будешь искать?
— Если бы знал где, давно бы нашел. Не мешай спать.

* * *

Закутавшись в длинную косматую шерсть, Маратик лежал на широкой спине мамонта. Громадный и сильный, словно тепловоз, покрытый вывернутым наизнанку тулупом, зверь продирался сквозь древние заросли. Под тумбами ног барабаном гудела молодая планета. Мамонт шел напролом, не разбирая дороги, и мелкие синие озера, которые он переходил вброд, выплескивались из берегов. Исполнив остановился у высокого, красного от закатного света дерева и принялся чесать бок о его ствол. Могучее дерево сотрясало и скрипело, отчаянно цепляясь корнями за землю. Маратик перелез на ветвь. Косматый великан, невозмутимый, полный достоинства, уходил прочь, растворяясь в красном тумане заходящего солнца.

Мамонт оглянулся, и Маратик увидел, что глаза у него, полузакрытые свисающими клочьями шерсти, были голубыми и грустными.

* * *

Брезентовый полог взлетел, как птица, и яму залил яркий свет.

Маратик открыл глаза и увидел над собой стройную девушку в мужской рубашке с закатанными рукавами и джинсах, перепачканных на коленях глиной. В левой руке она держала обыкновенный совок, а в правой — разбойничий кинжал. Длинное лезвие ослепительно сверкало на солнце.

— Ми-и-иша! — завизжала незнакомка, словно увидела не мальчишек, а мышат.

Над ямой склонился лохматый густобородый парень с зелеными глазами.

— Привет! — пробасил он и гудко затрубил. — Олег! Мы ископаемых поймали!

От этого раскатистого баса звенело в ушах Санька, и сонно завертел головой. Яму окружили молодые патлатые люди. Щелкнул затвор фотоаппарата.

— Из какой эры, пацаны?

— Не видишь — бронзовый век.

— Вы нашу девушку не обидели?

Все дружно захохотали.

Маратик осмотрел яму и обмер. Между ним и Санькой молитвенно сложив руки и подогнув ноги, лежал коричневый скелет. Он был еще не полностью выкопан из земли. Рядом с черепом, поглядывающим на Маратика пустой глазницей, лежала большая золотая серьга. Она была как новая будто только что из ювелирного магазина.

Парни и девушки расступились, пропуская к яме седую женщину. Она посмотрела на мальчишек сквозь холодные чистые стекла очков большими коровьими глазами и строго спросила:

— Как вы сюда попали?

— Рыбачили, от дождя прятались.— ответил Санька, испуганно косясь на скелет.

Все снова захохотали. Улыбнулась и строгая женщина.

Маратик ухватился за протянутую Мишей руку и бодренько вытащил его из могилы.

— А что вы тут делаете?— спросил Санька девушку с кинжалом.

— Мы — археологи.

— А-а-а!— все сразу понял Санька.— Золото ищите.

— Чтобы уверенно идти в будущее мальчишки, нужно хорошо знать прошлое. Тысячелетия назад плотность населения в пойме реки была выше, чем в наше время,— девушка ткнула кинжалом в сторону прибрежных сопот.— Вы видите долину мертвых, долину загадок. Мы не кладоискатели. Если хотите знать, мы нашли кое-что подороже золота...

У Саньки от удивления зашевелились уши: что может быть дороже золота?

— Мы откопали остатки колесницы! Представляете именно в этих местах люди одними из первых на Земле а может быть, и первыми, приручили лошадь, изобрели колесо! Посмотрите,— девушка осторожно взяла в руки треснутый горшок,— правда, красивый орнамент? Древний мастер брал в руки обыкновенную косточку и многократно прикладывал ее к сырой глине. Люди племени, к которому принадлежала и ваша знакомая, еще не знали гончарного круга. Если внимательно приглядеться, можно увидеть отпечатки пальцев мастера. Они обходились без гончарного круга, но не могли обойтись без красоты.

У Маратика дух захватило от гордости. Вот, оказывается на какой древней земле живет он! Близоручко шурясь. Ма

ратик тщетно пытался разглядеть отпечатки пальцев. Очевидно, по всей вероятности, он забыл вчера в лодке.

— А можно нам покопать?— спросил Санька.

— Запросто!— улыбнулся Миша и заорал так, что у мальчишек чуть не лопнули барабанные перепонки:— Олег я к тебе помощников веду!

Остроносый, похожий на ворона Олег вручил Саньке кисточку:

— Примета такая есть — новичкам всегда везет. Только, ради бога, осторожней.

Полчаса красный от волнения Санька пылинку за пылинкой смахивал землю в указанном месте. Какую тысячелетнюю тайну хранит этот курган? Кувшин с золотом? Золотой меч? Запахи не нашей эры щекотали ноздри. И вдруг Санька перестал дышать. Под кисточкой что-то матово блеснуло.

— Какой странный предмет,— прошептал Миша.

— Это не серебро — оно бы окислилось...

— Это не бронза — она бы позеленела от времени.

— Это не золото...

Археологи терялись в догадках.

Из-под дрожащей от напряжения кисточки обнажилась римская цифра «Х».

— Мы на пороге открытия...

— Они были связаны с Микенами...

— Ребята, у них... существовала письменность...

Наступила торжественная тишина. Было слышно, как шуршит кисточка и напряженно сопит Санька. Загадочный предмет медленно появлялся из-под земли. Словно гриб, беззвучно прорастало открытие века.

Размерами находка не превышала пятикопеечную монету. С минуту Санька, вытаращив от изумления глаза, разглядывал ее и, наконец, растерянно прочитал:

— «Харьков-80»...

Волосы у Маратика встали дыбом. Как мог попасть этот значок к древним людям, жившим три с половиной тысячелетия тому назад?!

Над его ухом раскатился гром. Это хохотал Миша. Он хохотал так громко, что не было слышно смеха его товарищей. Носатый Олег мелко сотрясаясь, словно его било током, и плакал.

— Тоже мне, архиолухи,— нахмурился Санька, отшвыривая кисточку.— Много вы своими ножичками накопаете

— Ты бы, конечно, бульдозером копал?— спросил Миша

— Я бы совсем не копал. Взял бы и просветил рентгеном

Насупившись, Санька мрачно греб.

Маратик безуспешно обшаривал лодку в поисках затерявшихся очков. И вдруг он вспомнил, где оставил их.

— Сань, я очки забыл.

— Где ты их забыл?— сердито спросил Санька, болезненно переживая розыгрыш.

— В могиле. Сунул в какой-то горшок и забыл.

Санька хмуро посмотрел на Маратика. Губы у него дрогнули и растянулись в неудержимой улыбке. Он бросил весла, повалился на спину и захохотал, дрыгая в воздухе босыми ногами.

— Ой, не могу! Ой, держите меня!— причитал он, захлебываясь смехом.— Не было там никакого горшка... Ты их в череп засунул... Ой, помру сейчас! Скелет в очках!... Открытие века!...

Захохотал и Маратик. Неуправляемая лодка раскачивалась, грозя зачерпнуть воду через борт.

Мальчишки плыли мимо затопленного леса. Из воды торчали покрытые тиной коряги. Только небольшая рошица спаслась от затопления по покатоному берегу. Но во время сильных ветров волны обрушивали отвесный берег, и новые осины, березы, боярышник падали в воду.

В зеленых кронах поверженных деревьев плескалась рыба мелюзга. Двухметровый срез берега был прошит корнями, как на рисунках в «Ботанике».

Маратик настроил «Смену» и сфотографировал погибающую рошу.

— Ты понапрасну кадрики не трать,— заворчал на него Санька.— Вот найдем, что ищем, тогда шелкай, сколько душе угодно. Смотри, не утопи аппарат!

Над берегом затарахтел четырехкрылый самолетик. Под зеленым брюхом у него свисал на тросах какой-то ящик.

— Ищут!— с видом знатока сказал Санька, из-под ладони разглядывая «кукурузник».

Маратик кинулся на дно лодки.

— Да не тебя ищут. Нужен ты им больно. Это геологи летают. Полезные ископаемые разные высматривают.

Маратик, провожая взглядом самолет, с грустью подумал: «Все что-то ищут. Археологи — следы древних людей. Геологи — полезные ископаемые. Санька — мамонтов. Только я ничего и никого не ишу. Все меня ищут».

По гладкой, как безоблачное небо, воде всером рассматились мальки.

— Жор начинается. Окунь малька гоняет,— определил Санька, заворачивая лодку к берегу.

Замутив на мели воду, мальчишки куском мешковины, как бреднем, наловили крошечных рыбешек. Санька заякорил лодку на трехметровой глубине возле островка водорослей, метрах в тридцати от берега, и стал составлять коленца бамбукового удилища. Маратик тоже потянулся за удочкой, да так неосторожно, что банка с мальками, стоявшая на кормовом сиденье, полетела за борт. Он успел подхватить ее, но в ней осталось не больше десяти рыбешек.

— Раззява!— заругался на него Санька.

«Я ему только мешаю,— виновато подумал Маратик,— и зачем я навязался к человеку? Какая ему от меня польза?»

Санька сердито протянул ему настроенную удочку:

— Мальков за губу насаживай. Окунь с головы берет.

Он достал из-под сиденья стеклянную банку. В полиэтиленовой крышке было вырезано квадратное отверстие. Накрошив в банку хлеба и облепив размятым мякишем отверстие, Розгачев на шнуре опустил банку за борт.

Поплавок из гусиного пера беспокойно задергался.

— Не дергай!— предупредил Санька, готовя удочку для себя.— Когда потонет, досчитай до пяти, тогда и тяни.

Поплавок стремительно ушел под воду. Маратик рванул удилище вверх, и паутинка лесы лопнула.

— Разве так тянут, чадо! Учись, пока я жив, салага.— С этими словами Санька ловко забросил удочку. Через минуту он подсек окуня.

— Смотри, как это делается,— учил он Маратика умразуму на наглядном примере.— Главное — слабины не давать.

Ощетинившись колючими плавниками, полукилограммовый горбач заплясал на дне лодки.

Клев был на славу. Санька обменялся с Маратиком удочками и привязал новый крючок. Поплавки, коснувшись воды, сразу шли на дно. Оказалось, что выудить окуня нетрудно, куда труднее вытащить из пасти крючок. Жабры у этих речных тигров были острыми, как ножи, а иголки спинных плавников так и норовили вонзиться в ладони. Руки у Маратика стянуло на солнце, порезы надсадно ныли. Время от времени Санька вытаскивал из воды стеклянную самоловку, в которой сверкали серебряными молниями маленькие, с мизинец, плотвички.

Но в конце концов голод переборол азарт. Рыбаки вы-

плыли на берег и сытно пообедали ухой по-розгачевски.

Искупавшись, мальчишки направились по кромке берега к заливчику узнать причину переполоха, который устроили чайки. Путь им преградила ограда из колючей проволоки. Маратик вслед за Санькой прополз под ней. Если бы мальчишки поднялись вдоль заграждения, то на макушке сопки они бы обнаружили фанерную табличку: «Стой! Запретная зона. Идут взрывные работы».

Неутомимые волны закупорили горловину заливчика песчаной дюной. Естественная плотина отгородила от водохранилища глубокий затопленный с весны овраг, и образовалось озеро. Над ним-то и кружили горластые, диристые чайки, дрались из-за легкой добычи. Озеро окаймляло серебряное кольцо рыбьей чешуи. Берег был усеян мертвыми язями, чебаками, пелядью. Большой зеркальный карп в окружении белобрюхой мелюзги плавал кругами на боку, из последних сил пытаясь уйти на глубину.

Пробиваясь сквозь облитый битумом хлам и бумажные мешки с просыпавшейся через дыры какой-то отравой, в озеро впадал родниковый ручеек. От места слияния расходились мазутные круги и расплывались заплесневелые изнутри пузыри.

Карпа нужно было спасать. Санька зашел по пояс в протухшую воду и подтащил рыбку к берегу. Это был настоящий речной поросенок.

До чистой воды водохранилища мальчишкам пришлось нести его вдвоем. Жадные чайки устроили им громкий скандал.

Только взобрались Маратик и Санька на дюну, как совсем рядом от них, за соседней сопкой, вырос фонтан дыма, пушинками взлетели пудовые камни и словно сто громов грянули разом. Часк будто сдуло. Да и мальчишки, брехив карпа, задали такого стрелача, что самый быстрый заяц лопнул бы от зависти.

* * *

Охотники за мамонтом не мешкая отчалили от него-степриимного берега.

— Сань, что это было? — стуча зубами, спросил Маратик. Санька греб, как на гонках.

— Что, что... Вулкан — вот что.

Только через час путешественники пришли в себя.

Маратик, которого уже давно смущала роль пассажира, сменил Саньку. Но оказалось, что грести не так-то легко, как ему казалось. Правое весло так и норовило нырнуть поглубже, в то время как левое отскакивало от воды, словно

плоский камень, брошенный с берега. Лодка ерзала из стороны в сторону. Чтобы уключины не скрипели, он по совету опытного друга смачивал их водой. Но железо быстро высыхало, и снова начиналась унылая песнь. Ладони у Маратика горели. Чтобы унять боль, он их тоже смачивал. И напрасно. Размокшие волдыри лопались, пытка становилась невыносимой.

— Побаловался и хватит, — сказал Санька. — Гребешь, как лимон жуешь.

Санька по своему обыкновению запел, а Маратик принялся дуть на ладони.

За лодкой увязалась чайка. Поглядывая жадными глазами на окуней, оставленных для следующей ухи, она требовательно кричала. Время от времени птица взмывала вверх, но, сделав круг, снова зависала над мамонтоловами, часто махая крыльями, как веерами.

Она совсем не боялась мальчишек, пикируя так низко, что Маратик чувствовал ветер на лице. Он засмотрелся на розовые лапки, сжатые в кулачки, и совсем забыл о спиннинге. Прикрутив рукоятку пластмассового удилища к сиденью, Санька стравил лесу, и лодка тащила за собой блесну. И когда катушка неожиданно затрещала, Маратик от испуга чуть не выпрыгнул из лодки.

Сашка бросил вёсла и, вытаращив глаза, бросился к спиннингу. Прозрачная струна лесы резала воду, конец удилища судорожно метался, разбрызгивая капли. Санька томительно долго выуживал добычу, то подтягивая, то отпуская лесу, пока Маратик не увидел у борта хищную спинну, красные плавники и глупые холодные глаза щуки.

— Заводи под нее подсак! — закричал Санька.

— У, пернатая! — заругался Санька, когда щуку совместными усилиями затащили в лодку. — Я тебе попрыгаю! Сломаю хребет — будешь знать!

Маратик ликовал.

— Здоровенная! Я никогда не видел такой большой щуки.

— Так себе, килограмма на три, — поскромничал Санька. Но глаза у него блестели.

* * *

Убаюканный скрипом уключин, Маратик задремал, сидя на корме в позе кучера. Проснулся он от легкого сотрясения и увидел ондатру, плывущую мимо с камышинкой в зубах. Зверек подозрительно косил на него одним глазом. В следующее мгновение нос лодки врезался в шуршащие заросли камыша.

— Сань, где мы?

— У острова Буяна, в царстве славного султана, — всерьезно ответил Санька.

— Не султана, а Салтана.

— Если знаешь, зачем спрашиваешь?

— Нет, правда?

— Это Ильинский остров.

Замаскировав лодку в камыше, мальчишки пробрались через заросли чернотала и попали в густые кусты черемухи, перевитые хмелем. Остров явно не хотел принимать непрошенных гостей: за черемухой их поджидала крапива в рост взрослого человека. Опутанные паутиной, исхлестанные, исцарапанные, мамонтоловы вышли на длинную лужайку, покрытую муравой. Когда-то эта лужайка была улицей. По краю травянистой дороги на месте снесенных домов правильными квадратами росла густая конопля. В просветах сиротливо стояли тополя, топорщил колючие листья татарник и пышно цвела белена. Буйная сорная растительность изо всех сил пыталась скрыть следы людей, десятилетиями селившихся в этих местах.

Пролетел дикий голубь. И по его расцветке можно было предположить, что когда-то он был домашним.

В глубине острова росли странные голубые деревья.

Мальчишки подошли поближе и увидели, что это все-го-навсего клены. В разгар лета они стояли без листьев. Возможно, потому, что весной остров затопляется и излишняя влага вредна для них, а возможно, потому, что деревья эти не могут жить без человека и засохли от тоски.

— Маратик, смотри, — прошептал Санька, — космический корабль. Инопланетяне!

Путешественники опустились на четвереньки и поползли к кустам акации, за которыми проглядывался серый конусообразный предмет.

Они подползли совсем близко, и Маратик уже приготовил фотоаппарат, с которым никогда не расставался, чтобы запечатлеть пришельцев из иных миров, как вдруг Санька поднялся на ноги и разочарованно сплюнул:

— Никакая это не ракета. Это обелиск.

— Скажешь тоже, — не поверил Маратик, — по-твоему, дома и всякое барахло перевезли, а ЭТО забыли?

Но вскоре и Маратик убедился, что за акациями, в бурьяне, стоял обелиск. Это было единственное место, не затопляемое во время весеннего паводка. Когда переносили село, решили оставить на острове двухэтажное здание больницы: была мысль переделать его в «Дом рыбака». Следо-

вательно, на острове будут люди и приглядят за обелиском. В этом было нечто романтическое. Но пока решали, какой организации передать здание, нашелся один предприимчивый частник, которому нужен был кирпич для строительства нового дома. Дождался он, когда водохранилище покроется прочным льдом, и приехал к пустующему зданию на грузовике. С ломом. Потом кому-то понадобился кирпич для печи, кому-то — для гаража... И от «Дома рыбака» остался лишь фундамент. Первые годы после затопления за обелиском ухаживали, но постепенно люди стали приезжать все реже. В конце концов о нем забыли. В последний раз, три года тому назад, покрыл обелиск бронзовой краской старик на деревянном протезе.

Мальчишки были потрясены недолговечностью человеческой памяти.

«Чтобы уверенно идти в будущее, нужно хорошо знать прошлое», — так сказала девушка в джинсах, перепачканных на коленях глиной.

Маратик подобрал с земли палку и, как саблей, расчистил путь к обелиску.

Словно бумеранг, прошелестела над обелиском дикая утка: вылетела со стороны водохранилища и, заметив мальчишек, вернулась.

— Это необитаемый остров. Люди забыли о нем, — вслух подумал Маратик. — Забыли об острове и забыли об обелиске.

— А мы что — не люди? — хмуро спросил Санька.

Вырвав с корнем репейник, он швырнул его за кусты акации.

Вскоре поляна вокруг обелиска была очищена от сорняков

* * *

Но оказалось, что остров был не таким уж необитаемым. Об этом красноречиво свидетельствовал стог сена, обнаруженный мальчишками на восточной стороне. Для ночлега они устроили в нем уютную пещеру. Путешественники лежали на мягком пахучем разнотравье и беседовали.

— Сань, а что мы будем с мамонтами делать?

— Чудак! Разводить будем. Знаешь, сколько с одного мамонта можно настричь шерсти? — спросил практичный Санька и сам же ответил: — Один мамонт тысячу овец заменяет. Разведем побольше и заграничным зоопаркам продавать будем. За каждого — миллион долларов. Знаешь, какая польза народному хозяйству? Нам памятники при жизни поставят

Маратик уважительно прищелкнул языком: его друг решил задачу государственной важности. Потом он представил, как к памятнику, который поставят им при жизни, придут мальчишки из его отряда. «Это тот самый Маратик, которому нельзя пить на ночь компот?» — спросит толстяк Фрося. Нет, слава ему не нужна.

— А чем мы их будем кормить?

— Соломой, — уверенно ответил Санька и тяжело вздохнул. — Эх, только бы найти. . Знаешь, сколько за это дене отвалят?

— Сколько?

— Миллион.

— А зачем тебе столько денег?

— Город построю на Линевом озере. Без улиц.

— Скажешь... Без улиц.

— А я дома кругами вокруг озера буду строить. Первым круг засажу черемухой, второй — соснами, третий — яблонями. Вишневый круг, Ивовый круг. Понял?

— А зачем — кругами?

— У нас бұраны бывают? — рассердился Санька

— Бывают.

— Зачем тогда спрашиваешь? Мне дворники знаешь какое спасибо скажут.

Саньке можно было позавидовать. У него был подробный план города. Почти в руках миллион рублей на его строительство. Остался сущий пустяк — найти мамонта.

— А как ты назовешь город? — спросил после долгих раздумий Маратик.

— Ма-мон-то-водском, — зевая, ответил Санька. — Заткни дыру сеном, комары налетят.

Маратик зашуршал, закрывая отверстие травяной пещеры.

— А почему Мамонтоводском?

Санька сонно забормотал:

— Мамонтоводы будут жить... Мамонтов пасти.. Спи давай.

Маратик смотрел в кромешную темноту и думал о печальной судьбе гигантов. Он представил степь, покрытую льдом. Весь в белых хлопьях снега, словно седой, стоит одинокий мамонтенок и тихо плачет. Совсем один в холодной пустыне. Маратик тоже заплакал и стал сочинять стихи. Он долго лежал с открытыми глазами. Шуршала сеном осторожная мышка, хозяйка стога, безмятежно сопел Санька. Беззвучно шевелил губами Маратик. Он слышал

как начался ветер. Зашумели заросли чернотала, тяжело задышало водохранилище. Пошел дождь.

* * *

— Маратик, вставай! Лодка пропала!

Маратик, бесцеремонно вытащенный за ногу из логова, ослеп от веселого солнца. После ночного дождя остров роскошно зеленел. Птицы надрывали голоса от восторга. И только Санька был мрачен, как капитан, потерпевший кораблекрушение.

— Надо берега осмотреть. Беги налево, я — направо. Через час они встретились.

— Не видел?— с надеждой спросил Санька.

Маратик виновато покачал головой. Ничего радостного сообщить своему другу он не мог.

Для Саньки настала минута, когда не грех было и по-реветь.

Но неприятность только разозлила его. Он разразился ужасными проклятиями в адрес неизвестного вора: «Чтоб тебя подняло и гэгнуло! Чтоб тебя раки съели! Чтоб тебя...»

Маратик вдруг вспомнил про ночной ветер. Вот кто угнал лодку!

Он поделился своим соображением, но Санька раскипятился еще пуше.

— За камыш привязал, тьфу! Надо было якорь бросить. Лопух!— обругав себя за беспечность, он что есть силы треснул кулаком по собственному лбу. От такой беспощадной и искренней самокритики вскочила шишка. И Санька, сразу успокоившись, принялся нежно гладить ее.

Сердито обшарив карманы штанов, он достал складешок и коробок спичек. Раскрыл его и нахмурился. Осталось три спички.

Вспомнив про потайной карман, вытащил три десяти-рублевки. Целое состояние. Богач пошуршал ими, посмотрел на свет, убедился, что деньги настоящие. На них можно было одних булок центнер закупить, на край света уехать, обменяв на билет. Но, увы, на острове не было ни магазина, ни железнодорожного вокзала. Онигодились бы разве для того, чтобы в сырую погоду разжечь костер.

— Хавать хочу, как из ружья,— сказал Санька.

— Что ты хочешь?— переспросил Маратик.

— Есть хочу. Очень,— перевел Санька фразу на русский язык.

Какой вкусной показалась мальчишкам вчерашняя уха из шуки. Но ведро было пусто, а снасти уплыли.

Если верно, что дети — цветы, то Санька, скорее всего, репейник. Оставь его голеньким в осеннем лесу, он тут же соорудит себе костюм из листьев, разыщет съедобные корешки и, будьте спокойны, перезимует. На острове в нем проснулись инстинкты первобытного человека. Он не ходил, а рыскал, не просто смотрел, а высматривал добычу, по-звериному нюхал воздух.

В ведре варились шампиньоны. Пища была под ногами. Заросшие муравьей дороги забытой Ильинки бугрились съедобными грибами. А костер Санька разжег с первой спички. Наструганные елочками сухие щепки вспыхнули как порох. Запах дыма и грибов приятно щекотал ноздри.

Грибы были без соли, но зато их было много. Они были чуть сыроваты, но зато хрустели на зубах.

Приказав Маратику охранять костер, Санька ушел.

«А если пойдет дождь?» — с тревогой подумал Маратик. Он лег на землю и стал следить за белыми, как дым из старинных пушек, облаками. Ветерок раскачивал вершину тополя, а Маратику казалось, будто качается на волнах и плывет куда-то сам остров. А на всей огромной планете с ее морями и реками, лесами и пустынями, среди птиц и зверей остался один человек. И этим человеком был он сам.

Над островом пролетела неуклюжая, угловатая цапля, и от ее тревожного крика на душе стало тоскливо. Маратик подумал о том, как расстроятся родители, узнав о его побеге, о том, что они, возможно, никогда больше не увидят его, потому что они с Санькой, скорее всего, вымрут, как мамонты...

Печальные мысли прервала веселая песня о Косте-моряке, которого уважала вся Одесса, и Маратик рукавом грязной рубашки насухо вытер глаза.

Бросив у костра охапку гибких прутьев чернотала, Санька протянул товарищу сладкий мучнистый корень рогозы.

— Вечером будем есть уху, — самоуверенно заявил он и пояснил: — Сплету самоловку.

— Давай лучше сделаем плот, — предложил Маратик.

— У тебя есть топор, пила?

— Можно сделать каменный топор...

— Лучше — каменную пилу, — съязвил Санька.

Далеко ли уплывешь на плоту? С исчезновением лодки путешествие для него теряло смысл.

— На острове должен быть топор! — осенило Маратика. — Ведь жили же здесь люди.

— Сходи, поищи,— буркнул Санька, втыкая глубоко в землю прутия по правильному кругу диаметром сантиметров в десять.

* * *

Археологи будущего позавидовали бы Маратику. Он нашел позеленевший пятак, бронзовую пепельницу в виде крылатой женщины, ржавый замок и табличку «Осторожно! Во дворе злая собака!»

Сколько совершенно бесполезных вещей существует в мире! Обходятся же они с Санькой без пепельниц, замков. Многие предметы делаются, как видно, специально для археологов.

Прихватив по пути сушняк, Маратик вернулся к костру.

За время его отсутствия Санька сплел горловину. Вытащив концы прутиков из земли, он с помощью Маратика изогнул торчащие хлыстики и, собрав их в пучок над внутренним отверстием горловины, связал шнурком от кеда. Каркас был готов. Рыжий непоседа, зажав ногами заготовку, углубился в работу. Казалось, он забыл обо всем на свете. С паучьей неутомимостью Розгачев плел и плел свою ловушку под лучами безжалостно палящего солнца. У Маратика рябило в глазах от однообразного мелькания Санькиных пальцев. Такой силой воли, как у Саньки, могли обладать только старушки, вяжущие шерстяные носки.

К вечеру самоловка была сплетена. Подбросив в костер комлеватую корягу, мальчишки пошли выбирать место для лова.

* * *

В зарослях рогозы всполошились утки. Послышался мощный всплеск. Кто-то большой и сильный, устало фыркая, шел к берегу. Зачавкало, затрещали и закачались кусты.

Бросив самоловку, мальчишки распластались в густой траве. Еще секунда — и на поляну-улицу забытой людьми Ильинки выйдет лохматый зверь с тяжелыми, словно белый мрамор, бивнями. Он поднимет хобот и затрубит так, что в домах далекого Новоильинска зазвенят оконные стекла...

Неловкими от волнения руками Маратик снял чехол и прицелился фотоаппаратом в сторону загадочных звуков. В туманном оконце видеоискателя появился лось. Он тяжело дышал и как бы неуверенно, словно только что родившийся жеребенок, переставлял свои длинные ноги-ходули. Лось устало отряхнулся, и над ним в туче мелких брызг вспыхнула радуга.

Щелкнул затвор, и лось отпрянул. Ноги у него подко-
сились, и он рухнул, словно не выдержав свинцовой тяжести
резных, как кленовые листья, рогов.

Округлившимися глазами Санька подозрительно поко-
сился на фотоаппарат:

— Он у тебя пулями, что ли, стреляет?— прошептал
Розгачев.

* * *

А в это время на правом берегу водохранилища возли-
г глубокой трещины оврага, по дну которого сочился родни-
ковый ручеек, стояли два человека в болотных сапогах и
штормовках защитного цвета. За плечами у них висели
ружья, стволы которых пахли сгоревшим порохом. Они
смотрели в сторону острова.

— Доплыл сохатый,— опуская бинокль, с облегчением
перевел дух толстяк с непомерно большой и почти квад-
ратной головой. Брезентовая ткань на его спине была на-
тянута, как на барабане. Множество карманов с
металлическими застёжками делали неуклюжего толстяка
похожим на старинный пузатый комод.

— Я так переживал! Думал — утонет,— откликнулся
женским голосом тощий напарник, одежда на котором сви-
сала глубокими складками, как на вешалке, а широкополая
шляпа каким-то чудом держалась на затылке.

— Еще бы не переживать,— осклабилсч человек-комод,—
сколько мяса и никому не достанется. Как он сиганул из
Ольховой дачи от моей сирены!

— Мерзкий звук,— поморщился человек-вешалка,— чуть
душу наизнанку не вывернуло.

— Эх, душа твоя наизнанку! Как же ты промазал? За
такой выстрел руки повывергивать мало!— побранил Комод
Вешалку и добавил самоуверенно:— Если бы моя лайба в
солончаках не застряла, куда бы он не ушел, вечером
свежатину бы отведали.

— А мне не результат, мне процесс важен...

— Процесс ему важен!— сердито перебил Вешалку Ко-
мод.— Сказал бы сразу, что струхнул.

— Шумновато в тюменской тайге стало, разбегается
зверьё,— пропустил оскорбление мимо ушей тощий. Он
чувствовал себя виноватым.

— Мало стало зверя, мало,— загрустил толстяк,— раз
в сто лет забежит лосишко, а ты стреляй да оглядывайся.
А раньше что тут творилось?! Слышал: пацан бивень нашел.
Мамонты стадами ходили.

— Да, попасть бы со своим ружьишком в те времена, — мечтательно пропел человек-вешалка.

— Значит, так, — перешел к делу Комод, — завтра в пять я подъезжаю на машине к Березовскому заливу. Ты забираешь меня в свою моторку и — плывем к острову. Валим сохатого — грузим в лодку. Плыдем к заливу — грузим в машину. Придется кума взять, вдвоем не управимся.отрежем ему за труды ляжку.

— Ты хотел сказать: отрежем ляжку у лося и отдадим куму, — кисло поправил толстяка тоший.

— Мяса пожалел?

— Не хочу я связываться с ним. Такие дела нужно делать с интеллигентными людьми. А твой кум, извини, настоящий уголовник.

— Тоже мне — папа римский, — проворчал Комод.

Тоший взял у своего приятеля бинокль и навел на остров.

— Смотри, — насторожился он, — дым.

Бинокль снова перешел из рук в руки.

— Черт бы побрал этих туристов! — выругался толстяк. — Придется подождать до субботы.

Расстроенные, они пошли вверх по оврагу к застрявшей в солончаках машине.

* * *

По острову на человеческих ногах шли две охапки сена.

— Сань, а трава, наверно, вкусная? — спросила одна охапка.

— Спроси у лося, — ответила вторая.

Послышались чавкающие звуки, затем плевков, и зеленая жвачка закачалась на гибком стебле конопли.

— Странно, — пробормотала охапка повыше, — коровы сено едят, а люди — нет. Вот бы научиться из травы сразу молоко делать! Скажи, Маратик?

Копна поменьше с аппетитом ответила:

— Да-а-а...

Обессиленный лось настороженным взглядом следил за странными существами, приближающимися к нему. Он попытался встать на ноги и не смог.

Две охапки упали возле него в один общий стожок, и лось увидел маленьких людей. Они зачмокали губами и стали совать ему пучки травы. Ах, как ему хотелось прогнать от себя этих назойливых и непонятных существ.

Лось хорошо ориентировался в многоликом мире живых существ: знал, кто из них опасен, а кто безобиден. И только эти двуногие оставались для него тревожной загад-

кой. Люди с громом в руках убили его мать. И он понял, что их надо бояться. Люди, которые были частью железных грохочущих чудовищ (от них неприятно пахло мазутом), поставили в лесу рядом со своим жилищем бочку с водой.

Жажда пересилила страх. У водопоя они оставляли вкусные корочки хлеба. Он видел их часто, и ничего плохого ему они не делали. Лось перестал бояться людей и однажды взял хлеб из рук одного из них. Потом снова появились эти коварные существа с громом в руках, и он в страхе убежал от них, а в теле его осталась боль. Он уплыл от них к синей земле, но и здесь они нашли его, эти непонятные существа, которые могут безжалостно убивать и щедро делиться едой.

— Сань, посмотри, в него стреляли!

— Один появился и того убить хотели. Шкуродеры! — помрачнел Санька. — Как ты думаешь, если они встретят мамонта, убьют?

Маратик представил на месте раненого лося мамонта. Вот он лежит огромный, как совхозный стог сена, а вокруг него пигмей-браконьеры. И все палят из ружей.

— Убьют, — печально сказал он, — в него легко попасть.

Санька погладил вздрогнувшую под его рукой лосиную кожу около раны:

— Я бы все ружья отобрал, переплавил и сделал из них ракету. Посадил бы на них всех браконьеров и запустил бы на луну.

— Сань, а почему на луну? — задумался Маратик.

— Там зверей нет.

— Не ест, — озабоченно вздохнул Маратик. — Может быть, он нас стесняется?

— Скажешь тоже, стесняется. Что он человек, что ли?

— Я думаю, звери, как люди, — возразил Маратик. — Мы ведь тоже от обезьян произошли.

Санька нахмурил брови. Он думал.

— Интересно, а если бы люди произошли от лосей, стали бы они стрелять в нас, в обезьян? — спросил он.

Маратик посмотрел в глаза животного, мудрые взрослые глаза.

— Зачем ему в нас стрелять? Он травоядный.

* * *

Весело трещал костер. Искры взлетали в небо и становились звездами.

Мальчишки грустно хрупали отваренные шампиньоны. На лицах их застыли гримасы отвращения.

Санька отшвырнул гриб и с голодной злостью возразил неизвестно кому:

— Умники нашлись! Если мамонтов никто не видел, значит, они вымерли, так что ли? А ты лося в наших краях видел? Не видел. Так иди, посмотри. Правда, Маратик?

Маратик посмотрел отсутствующими глазами на друга и произнес:

— В лагере на ужин макароны с мясом дают.

— Я о чем и говорю,— поддержал разговор Санька,— пока мы здесь без лодки прохлаждаемся, они их перестреляют, а потом бивни в музей отнесут. Нашли, скажут.

Линии их мыслей, как две параллельные, не пересекались.

— Сань, послушай. Если есть стог, значит, его кто-то косил. Тот, кто косил, должен его забрать. Верно?

— Верно,— подтвердил Санька и тут же разочаровал Маратика:— Как лед встанет, так и приедет.

До зимы ждать было долго.

Из-за туч появилась луна. Сказочный свет залил остров. Совсем рядом, словно серебряные, блеснули влажные рога. Поднявшийся на ноги лось пристально смотрел на человеческих детенышей. У него не было спасительного дыма, и назойливая мошकारа лезла в ноздри, глаза, облепляла рану. Он фыркал, мотал головой и вздрагивал кожей. Мальчишки замерли. Никогда в жизни они не видели ничего более прекрасного, чем этот серебророгий зверь. «Должно быть, его предки жили вместе с мамонтами»,— прошептал Санька. А Маратик подумал: «Может быть, сейчас из темноты на нас смотрит последний на планете лось».

А чья это огромная черная тень за спиной животного?

Луна спряталась за тучу, и остров окутала тьма. Древние мамонты плотным кольцом окружили костер и молча не шевелясь смотрели на мальчишек.

* * *

— Чтобы не погас костер, спать будем по очереди,— сказал Санька.

— Я подежурю первым,— вызвался Маратик,— все равно у меня бессонница.

Санька засмеялся:

— Скажешь тоже. Бессонница только у старух бывает.

Обняв колени, Маратик смотрел на непоседливое пламя. Оно чем-то напоминало его рыжего друга, спавшего сейчас в стogu.

Мимолетные видения мелькали в костре. Красные кони

с развевающимися гривами вставляли на дыбы, поднимались и рушились замки, подняв хобот, трубил огненный мамонт, ураганный ветер рвал алые паруса... И вдруг Маратик очутился в каменной пещере. На нем были звериные шкуры, а рядом лежал мамонтенок и, положив голову на толстые ноги, неотрывно смотрел на огонь.

Маратик проснулся от утреннего холода. Он растер заекшую руку, потянулся и — с ужасом увидел перед собой кучу пепла. Редкие угольки затачивались уже голубой дымкой, и только в центре мерцали рубиновые искорки. Подбросив заготовленные с вечера сучья, Маратик что есть силы принялся дуть на умирающий костер. От пепла слезились глаза и першило в горле. Но тшедушный синий огонек, вспыхивающий на мгновение, был слишком мал и слаб, чтобы разжечь сучья. В кармане у Маратика лежала маленькая тайна — зеленый блокнотик. Сам по себе никакого секрета он не представлял, но дело в том, что на его страницах рукой Маратика были записаны стихи, сочиненные во время неравной борьбы со сном под дружное похрапывание мальчишек из четвертого отряда. Зеленый блокнотик был принесен в жертву огню. А это нелегко было сделать: автор дорожил стихами, и ему больно было смотреть, как они превращаются в дым. Но зато какая-то строчка, вспыхнувшая особенно ярко, не дала умереть огню.

Над островом в полнеба полыхал костер зари, будто горели тысячи никем еще не написанных стихотворений.

* * *

Из отверстия в стогу на четвереньках выполз Санька и занялся утренним туалетом. Послунив пальцы, протер ими глаза и пятернёй очистил рыжую шевелюру от травинок.

— Говорят, когда спишь, есть не хочется. Враки, — поделился он свежим открытием. — Всю ночь пельмени снились.

Санька яростно поскреб пятку, широко зевнул да так и застыл с открытым ртом: у костра сгорбившись сидел седоволосый старичок-лилипут. Какой ужас! За одну ночь его юный друг достиг пенсионного возраста. Черные волосы побелели, под носом выросли усы...

Иногда достаточно хорошенько чихнуть и вытереть нос, чтобы рассеялись самые жуткие тайны. Именно так и поступил Маратик. С головы его посыпался пепел, а черные усы были размазаны по лицу. Саж, пепел — и никаких чудес.

Санька пришел в себя.

— Почему меня не разбудил?— напустился он на Маратика.

— Я будил. А ты брыкался и кричал: «Это не я! Это не я!»

— Спи давай,— буркнул Санька и, подхватив ведро, пошел проверять самоловку.

Попался один глупый-преглупый окунишка величиной с окуроч. «Дураков нет,— рассудил Санька.— Станут они за так жизнью рисковать. Надо бы горловину тестом смазать. Только где его возьмешь?»

Неудачливый рыболов с завистью проследил за полетом чайки. В клюве она несла серебристую рыбешку.

Стоя по грудь в воде, Санька посмотрел вдоль берега, и вдруг глаза его загорелись охотничьим азартом. На маленьком мыске в окружении сорок сидел молодой заяц. Птицы тихо стрекотали, будто сплетничали, а он с любопытством крутил головой. Если зайти с перешейка, то можно легко поймать ушастого. Уха по-розгачевски, конечно, блюдо вкусное, но что может быть вкуснее жареной зайчатины? С этой мыслью Санька бесшумно погрузил в воду самоловку, присел без всплеска и, оттолкнувшись от дна, нырнул до самого берега.

Разбуженный Маратик мутными глазами посмотрел на голого, до крайней степени взволнованного друга и спросил

— Мамонта нашел?

— Зайца!— радостно сообщил Санька.— Бежим скорее!

Маратик удивился: с каких это пор его друга-мамонтолова заинтересовали зайцы, ведь они еще не вымерли?

Сороки, скандально стрекоча, взлетели. Зайчишка заматался по узкому участку суши. С трех сторон его окружала вода, с четвертой подкрадывались тощие, голодные мальчишки.

— Забегай слева! К кустам его не пускай! Гони на меня!— орал Санька и, растопырив руки, прыгал из стороны в сторону.

Отчаявшийся зайчонок помчался по кромке берега к спасительным кустам. Санька, как вратарь, растянулся в прыжке, и добыча заверещала в его руках.

Голодные взгляды охотников встретились. Чтобы съесть зайца, его нужно было убить.

— Смотри не упусти!— Санька передал Маратику зайца и побежал к оставленной на берегу одежде за складешком.

Прижав к спине уши, пленник дрыгал ногами и кричал как грудной младенец. Он весь превратился в одно бешеное пушистое сердце.

Вернулся Санька. Раскрыл складешок и спросил:

— Может быть, ты?

Маратик торопливо передал пушистый комочек, показал ладони: видишь — мозоли. Это была уважительная причина, и он спрятал руки за спину.

На лезвии ножа мелко подрагивал ослепительный солнечный зайчик. Кто бы знал, как презирал себя в эту минуту Маратик за свое слабодушие, за то, что перепоручил Саньке самое неприятное в жизни дело, за то, что ужасно хотел есть... Зажмуриться — вот все, на что он был способен.

Пронзительный крик разом стих. Маратик открыл глаза.

Заяц, прощально помахивая хвостиком, улепетывал к кустам, а Санька хмуро смотрел ему вслед.

— Я вспомнил, что у нас нет соли,— мрачно сказал он, чувствуя себя бесконечно виноватым перед голодным другом.

— Без соли мясо есть вредно,— поддакнул Маратик.

В животе у него громко заурчало. Желудок протестовал, ему надоели шампиньоны, тем более — пресные. Правда, у грибов не было сердца. Для того, чтобы съесть, их не надо было убивать.

— Я, знаешь, зайчатину не люблю.— Санька скривил губы, показывая до какой степени ему отвратительна зайчатина.— Кролик вкуснее.

Завязался вдохновенный, возвышенный, мучительно неотвязный разговор о вкусовых качествах мясных и рыбных пирогов, супов, борщей, пельменей, земляники в сметане и прочих произведениях кухонного искусства. В тот самый момент, когда Санька, глотая слюнки, рассказывал о жареной печени налима, из безобидной на вид тучи пошел коварный слепой дождь.

Мальчишки побежали к месту ночлега. Они совсем забыли о костре...

* * *

У них осталась одна спичка.

Они и не подозревали, что от этой спички зависит жизнь лося.

А он стоял совсем рядом, красивый и гордый зверь с рогами, похожими на листья клена. Долгим настороженным взглядом лось смотрел на человеческих детенышей, этих непонятных двуногих существ, способных убивать и спасать, от жестокости и милости которых нигде не найти спасения, потому что они — вездесущи. Прирученные ими железные звери неуютимы и быстры, и отвратительным запахом

этих зверей пропахли озера и травы. Они повелевают громами, которые жалят, как 'оводы. Где спрятаться от них?

— Смотри, он к нам в гости пришел,— шепнул Маратик.— Жалко, хлеба нет.

Санька швырнул в лося обгоревшую головешку и пронзительно засвистел.

— Зачем ты?— обиделся Маратик, глядя вслед убегающему животному.— Он же хотел подружиться с нами.

— Подружиться... — передразнил его Санька.— Ну, подружится он с тобой, а что дальше? Ты его по головке погладишь, он и подумает, что так надо. Подойдет к какому-нибудь дядечке, а тот как шарахнет его между рогов из ружья! Не надо, Маратик, животных обманывать. Ни к чему эти девчоночьи нюни. Знаешь, почему мамонты вымерли, а змеи выжили? Мамонты прятаться не умели.

Как это ни странно, Санька был прав. Маратику стало вдруг стыдно перед лосем.

* * *

Голодные и чумазные, оставшиеся без огня, мальчишки все же чувствовали себя не пленниками, а хозяевами острова. Это было их крошечное государство со своей маленькой историей, с населением численностью в два человека, не считая, конечно, лося, зайчонка, ондатры и многочисленного крылатого племени. А в любом даже самом маленьком государстве должен быть порядок.

К забытому обелиску они наносили песок. Маратик воспользовался ведром, а Санька приспособил для этой цели джинсы, которые еще несколько дней тому назад были совершенно новыми. Нагруженные брюки со штанинами, завязанными снизу узлами, он носил, как хомут. Изобретенное им средство доставки было значительно удобнее ведра. Присыпав расчищенное у обелиска место речным песком, мальчишки соскоблили с бетонной пирамиды и поржавевшей звезды сорочки отметины, пучком сухой травы надраили мраморную плиту.

Они остались довольны своей работой. Обелиск стал единственным местом на острове, где чувствовалось присутствие человека, уютным и чуточку грустным уголком среди пышного запустения брошенного села.

Рано или поздно они построят плот из камыша и навсегда покинут этот дикий мир, где по ночам бродят тени вымерших мамонтов. Мир, который глядел на них недоверчивыми глазами лося, шелестел крыльями диких уток и

одичавших голубей, звал тревожными голосами чашек в неизведанные, таинственные края.

— Давай поклянемся приплывать сюда каждое лето,— предложил Маратик.

Санька набрал горсть земли и, отсыпав половину Маратику, сказал:

— Ешь.

— Зачем?

— Ты же сам сказал: поклянемся.

Вернее клятвы Санька не знал.

* * *

Вечером на правом берегу водохранилища остановилась машина.

Человек, похожий на комод, навел бинокль в сторону острова.

— Дыма не видно. Уплыли туристы. Завтра наш день.

— И все-таки не брал бы ты своего кума,— сказал человек, похожий на вешалку.

* * *

И наступила ночь без костра.

Мальчишки лежали в своей травяной пещере и старались не думать о еде. Они разговаривали о плоте, о мамонтах, о лосе.

Но серьезная беседа помимо их воли то и дело переходила к запретной теме. Стоило Маратику высказать дельную мысль о том, что опыт приручения дикого лоса очень пригодится, когда они встретят мамонта, Санька загорелся этой идеей.

— А может быть, вовсе это и не лось,— сказал он,— а лосиха.

— Какая разница?

— У лосихи молоко, ее доить можно...

А раз уж речь зашла о молоке, как тут ни вспомнить о сливках, сметане, мороженом... Саньку трудно было остановить. В своих мечтах он уже доил мамонтиху.

— Хорошо бы,— сказал Маратик,— найти мамонтьят.

Санька подумал и согласился: мамонтьят приручить легче. Но, с другой стороны, как быть с молоком?

— А хочешь, я тебе стихи почитаю?— неожиданно спросил Маратик.

Голодный человек не любит, когда ему читают стихи. Санька жевал листик кислого шавеля, и настроение у него тоже было кислым.

Стихи нужно читать так, будто стучишь на барабанс,— гра-та-та, тра-та-та!— громко и четко. Так учили в школе. Маратик же не читал, а шептал, и голос у него дрожал от волнения и стеснительности. Он был совсем никудышным чтецом, но, тем не менее, Санька после первых же строк перестал чавкать.

— Когда зеленые просторы
Покрылись льдом, то все как есть
Замерзли мамонты, которых
В пещерах не успели съесть.
Шел снег. Голодный мамонтенок
Сугробом маленьким белел.
И тихо плакал, как ребенок,
Последний мамонт на Земле.
Скажи, дикарь, тебе не стыдно
Поднять копьё? В голодный век
Жил человек тот первобытный,
Но все же был он человек.
И, словно своего внучонка,
Старик малютку пожалел.
Привел в пещеру мамонтенка
И у костра его согрел
На Севере в холодных скалах
Сто тысяч лет костер горит
Не спит в пещере дремный мамонт —
Он сон охотника хранит

Над стогом прошелестела крыльями ночная птица. С реки донесся одиночный всплеск. Тревожно забормотали в камышах утки.

— Кто сочинил?— строго спросил Санька.

— Я,— ответил Маратик, словно сознался в тяжком преступлении.

— Повтори еще раз.

...В ночной тишине слышались осторожные шаги. У стога шумно задышал большой зверь. Зашелестело сено, захрустело на зубах.

— Он нас совсем не боится,— прошептал Маратик.

— А чего ему нас бояться,— также шепотом ответил Санька.

* * *

В тоскливый предрассветный час к острову причалила моторная лодка. Три вооруженных человека сошли на берег. Остров насторожился.

Тихо побрякивая, утки забились в непролазные камыши. Зайчонок притаился в траве. Выпустив изо рта травинку, нырнула ондатра.

Беззащитными глазами сильного зверя всматривался в серую мглу лось.

Чуткие уши животного вздрагивали от тревожных звуков. Бряцало оружие, скрипели болотные сапоги, вполголоса переговаривались люди. Предвкушая РАДОСТЬ близкого убийства, они сдерживали нервное веселье. В их порывистых движениях, коротких глухих фразах, сухом блеске глаз прорывалась лихорадка запретного охотничьего азарта.

Лучи невидимого еще солнца окровавили одинокое облако. Росой были покрыты травы, деревья, шерсть лося. Прекрасный чистый запах речных водорослей, который принес предзоревого ветерок, был отравлен пороховой копотью.

Перед жестокой кровавой забавой люди жадно докуривали сигареты.

Красивый зверь с рогами, похожими на резные листья клена, был обречен. И остров напряженно вслушивался в последние удары сильного дикого сердца.

* * *

Косматый исполин провалился в яму. Обломок бивня глубоко вошел в мягкую глину.

Яму окружили дикари, одетые в звериные шкуры. Они галдели, как стая черных ворон перед дождем.

На зверя посыпались градом острые тяжелые камни.

Голубые глаза мамонта залились теплой кровью. Он мог бы разметать и растоптать этих слабых существ, но был бессилен перед их коварством.

Яма заполнялась камнями и кровью. Подняв хобот, зверь затрубил предсмертную зарю.

Толпа расступилась перед дикарем, опоздавшим к началу охоты. Он ничем не отличался от остальных, только в руках у него было двуствольное ружье.

Охотник прицелился в наивные и печальные глаза мамонта...

...Маратик проснулся, разбуженный выстрелами.

— Потихе брыкайся,— сонно заворчал Санька.

— Стреляют,— испуганно прошептал Маратик.

Сашка шумно зашуршал сеном, пробираясь к выходу.

Над островом гулко прокатились два выстрела.

В наступившей тишине медленно поднималось солнце, обещая ясный безветренный день.

Лось бился в предсмертных судорогах. Человек-комод вскинул ружье и прицелился в глаза животного, наивные глаза ребенка, в которых застыли страх, боль и вопрос.

Ружье дернулось, изрыгнув короткое пламя и гром. Тело лося расслабилось.

Три человека выпили по очереди из одного стакана водку, достали сигареты и прикурили от одной спички.

— До лодки далеко тащить,— сказал человек-вешалка.

— По частям перетащим,— буркнул угрюмый человек в фуфайке.

Он вытащил из-за пояса нож и, опустившись перед лосем на колени, вонзил лезвие в горло сохатого.

— Лопатку надо было взять, кровь присыпать,— забеспокоился человек-вешалка и осекся на полуслове: метрах в пятидесяти от них возле бетонной пирамиды обелиска стояли мальчишки. Ему показалось, что в руках одного из подростков сверкнул объектив фотоаппарата.

Человек-вешалка толкнул локтем квадратного приятеля. Комод тихо выругался.

— Что будем делать, кум, на острове пацаны,— прошептал он.

Человек в фуфайке поглядел через плечо бесцветными, ничего не выражающими глазами.

— Ты их знаешь?

— Рыжего где-то видел.

— Плохо дело, кореша. Продаст.

— У них фотоаппарат,— заволновался тощий.

— Без паники,— зашипел на него толстяк.— Сдается мне, это их лодку нашли возле Березовки.

— Значит, они утонули?— пробормотал человек в фуфайке.— Это хорошо.

— Нет, нет! Все, что угодно, только не это,— перепугался тощий.

Толстяк зашипел:

— Болван! Никто не собирается их топить. Мы их спасем, понимаешь? Привезем к родителям. Спасителей не продают.

— Спасители, ядрена корень,— буркнул человек с ножом.

— Эй, пацаны, идите сюда!— крикнул Комод и властно поманил их рукой.

Рыжий мальчишка поднял с земли камень и, разбежавшись, что есть силы метнул его в браконьеров.

Оставив нож в горле лося, человек в фуфайке не спеша поднялся и вразвалку пошел к обелиску.

— Пусть побегают, дальше острова все равно не убегут, — сказал толстяк и в сердцах сплюнул, смотря вслед удиравшим мальчишкам.

* * *

Густая, доходящая до пояса трава хлестала по ногам Маратик бежал, придерживая рукой хлопающий по боку фотоаппарат. Как марал, убегающий от погони, ориентируется по хвосту впереди бегущего так и он не видел ничего, кроме Санькиной спины. И вдруг, запнувшись о что-то мягкое, Маратик упал.

— Ты чего? — остановился Санька

— Сань, здесь рюкзак.

— Рюкзак? — переспросил Санька, помогая другу подняться. — Значит, где-то здесь они оставили лодку.

Сдерживая дыхание, он по-собачьи насторожился. За стеной чернотала ровно шелестел камыш. Санька различил ритмичные чуть слышные всплески. Это о борт невидимой лодки разбивались слабые волны.

* * *

— Прыгай в лодку! — приказал Санька

Перерезав складешком канат, он уперся прямыми руками в острый нос тяжелой металлической плоскодонки и толкал ее до тех пор, пока вода не дошла до пояса. В мокрых одеждах перевалившись через борт, Санька кинулся на корму, к мотору.

— Гребите!

Но весел в лодке не было. Маратик вытащил из сиденья доску.

Санька возился с мотором, безуспешно пытаясь его завести.

Лодка медленно, боком, отплывала от берега.

— Назад! Назад! — заорал человек-комод и пальнул для острастки в воздух.

Маратик вздрогнул и выпустил из рук доску.

Браконьеры суетились на берегу, ругались и потрясали ружьями. Толстяк торопливо раздевался.

Маратик нацелил на них фотоаппарат.

— Гаденыш, ты еще снимать меня будешь! — процеди сквозь зубы человек в фуфанке и вскинул ружье.

— Ложись на дно, Маратик! — крикнул Санька и с силой дернул шнур.

За ревом ожившего мотора он не расслышал выстрела. Вода за кормой забурлила, лодка рванулась, задрал нос вверх.

Оставшиеся на острове люди стремительно уменьшались в размерах. Санька долго грозил им чумазым кулаком, а когда обернулся, то увидел лежащего на дне лодки Маратика. В вытянутой руке его был зажат расчехленный фотоаппарат, а на рубашке адела кровь.

* * *

Берег в километре от плотины был усеян легковыми автомашинами и мотоциклами. Сотни рыбаков покачивались в резиновых лодках, замороженно уставившись на кивки донных удочек, терпеливо ждали поклевки. С берега доносилось фыркание и утробное покрякивание ножных насосов.

И в это заколдованное царство сосредоточенной тишины вихрем влетела моторная лодка. Взлетели на крутой волне резиновые челны, сотни проклятий посыпались вслед рыжему хулигану. А лодка, не сбавляя скорости, мчалась к берегу.

Оставив на мели мутный шлейф, моторка выбросилась на сушу, юзом прогладила влажный песок, выбила из рук опешившего старика камеру, и застряла в кустах смородины.

Рыжий мальчишка с зареванными глазами бросился к бранившему его на все лады рыбаку.

— Скорее! Его надо в больницу! Он умирает!

* * *

Два пыльных смерча приближались со стороны Новоильинска к забытому острову по обоим берегам водохранилища.

Два смерча стихли напротив острова, и захлопали дверцы.

Две флотилии резиновых лодок отчалили одновременно от левого и правого берега.

Началась облава на браконьеров.

Со стороны Новоильинска к острову стремительно приближался белый катер.

Майор Воробейко сошел на остров с нарядом милиции как раз вовремя. Опоздай он на минуту — и на забытом острове свершился бы самосуд.

До его приплыва рыбаки успели разоружить и изрядно помять браконьеров. Три преступника кинулись к нему, как к отцу родному, и спрятались за широкую спину майора.

Воробейко поднял руки: спокойно, разберемся!

На кленовых голубых жердях рыбаки несли к катеру убитого лося. В горле животного до сих пор торчала рукоятъ

ножа. Голова безжизненно раскачивалась, и рога царапали землю. Глаза у сохатого были широко открыты.

— Больше шуму,— вызывающе крикнул из-за спины майора толстяк,— подумаешь, лося пристрелили...

— Ты же, гад, не в лося, ты в мальчишек стрелял. И в переносном и в прямом смысле!— бросился к нему седой рыбак.

— Насчет переносного смысла — вам виднее,— расхрабрился за спиной Воробейко человек-комод,— а вот насчет прямого — это сначала доказать надо.

Майор круто повернулся к нему:

— Доказал уже. Хлопец при смерти.

Человек-вешалка завизжал голосом базарной торговки:

— Я говорил, не надо было связываться с этим уголовником! Зачем ты стрелял в мальчишек?!

Глаза человека в фуфайке совсем выцвели от злости. Он схватил тощего за отвороты куртки и притянул к себе.

— Заткнись! И заруби на своем длинном шнобелс: я стрелял вверх!— прошипел он ему в лицо.— Кум, скажи этой кишке, мы все стреляли вверх!

— Я ни в кого не стрелял, я вообще плохо стреляю,— провизжал тощий вибрирующим голосом из-за плеча уголовника.

Их разняли.

— Кум, скажи им! Это не я!— тот, кого называли уголовником, рванул на себе фуфайку так, что с нее посыпались пуговицы.

Толстяк холодно посмотрел на него и отвернулся.

— Шакалы! Кто меня затянул на этот остров? Гражданин майор, пузатый стрелял в пацанов!

— Что-о-о?!— захлебнулся от ярости толстяк.

Закрыв уши ладонями в густой траве сидел рыжий мальчишка. Комары облепили его. Но он не обращал внимания на их укусы. Сидел отрешенный от всего мира и тихонько раскачивался.

— Откуда он, сержант?

— Это тот самый Розгачев. С рыбаками приехал, дорогу им указывал.

* * *

Катер шел ровно, словно летел, оставляя за кормой бело-голубую борозду.

На палубе лежал красавец-лось. Возле него, отвернувшись друг от друга и нахохлившись, как вороны под дождем, сидели те, кто его убил.

Майор стоял у левого борта. Одна рука — на поручнях, другая — на плече рыжего мальчугана. По роду своей службы майор знал много вещей неприятных. Он знал, например, что бандит с бесцветными глазами и этот подросток с упрямым взглядом мечтателя и правдолюбца — отец и сын. Ему положено было знать это. Он думал о том, что сделать, чтобы об этом не узнал мальчик. Он и так слишком много узнал за сегодняшний день такого, о чем лучше бы и не знать.

— Кем же ты станешь, хлопец, когда вырастешь?

Санька серьезно посмотрел в глаза майора и ответил:

— Поваром.

— Поваром?— удивился майор, которому Санька только что поведал о цели неудачно закончившейся экспедиции.— А почему именно поваром? Чего тебе больше всего хочется?

— Есть,— коротко и мрачно ответил собеседник.

Тощий браконьер, он сидел рядом и слышал разговор, суетливо порывлся в рюкзаке и протянул Саньке круг копченой колбасы.

— Смотри не подавись,— зло покосившись на виновника своих бед, буркнул человек в фуфайке.

Санька волчком посмотрел в глаза этого человека, холодные, как покрашенные окна общественного туалета. Может быть, Маратика уже нет в живых, а он, жалкий попрошайка, берет из рук его убийц подачку.

Санька плюнул на колбасу и отшвырнул ее за борт.

На лице майора, как и положено людям его профессии, не отражалось то, что происходило в душе. Лицо майора оставалось невозмутимым, и только ладонь, лежащая на Санькином плече, стала чуть мягче и тяжелее.

О чем поет этот гордый сорванец? Майор прислушался. Санька пел о голодном охотнике, который отогрел у своего костра последнего на планете мамонта. Он пел на мотив уличной песенки стихи своего друга. Последний куплет Санька присочинил сам:

— Я знаю, где живет тот мамонт,
Но никому не расскажу



Деньги на велосипеде



Первый день летних каникул выдался солнечным и скучным. Три очкарика — папа, мама и я — сидели за кухонным столом и хлебали окрошку с молодой редиской.

Мне предстояло кое-что сообщить родителям, но «когда я ем, то глух и нем...». Люди только и встречаются за столом, но, вместо того, чтобы поговорить, пообщаться, тщательно пережевывают пищу.

Свою тарелку я осушил первым. Съел добавку. Стал ждать, пока с окрошкой расправятся родители.

Отец ел методично, по-деловому, словно пилил дрова. У хрупкой мамы это получалось так, будто она играет на скрипке: слегка помешает в тарелке и плавно несет ложку ко рту.

Наконец-то чай! Самое время для беседы.

— Я иду работать, — сказал я.

— Хорошо задумано. А куда, если не секрет? — осведомился отец.

— На кирпичный.

— Не говори глупости! Что скажут соседи! Можно подумать, мы тебя не обеспечим! Саша, скажи ему!

Сердито взглянув на часы, мама принялась крутить заводное колесико. Кстати, Сашей она называет отца.

— Ма, это не педагогично. Ты же сама говоришь: трудовое воспитание, трудовое воспитание...

— Между тем, о чем говорю я, и кирпичным заводом есть разница. И не пытайся меня воспитывать! Работа на заводе не для детей. Саша, скажи ему!

— Да уж там — каторга! Все мальчишки из нашего класса идут работать. И девчонки. Почти все. Хочешь, чтобы меня маменькиным сынком звали? Между прочим, дети в детский сад ходят. Пап, скажи ей!

Насчет мальчишек и почти всех девчонок я несколько преувеличил, но коллектив — это аргумент.

— Нет уж, друзья мои, объясняйтесь как-нибудь сами, без переводчика,— сдезертировал из педагогических соображений отец: у родителей не должно быть разногласий. Эту мысль внушила ему, конечно, мама.

Я понял свою оплошность. Не надо было, вот так сразу брать быка за рога. Стоило мне предварительно заговорить о «лобогрейке», на которой отец по его же собственным словам работал в тринадцать лет, или попросить маму рассказать о хромом жеребце Орлике, на котором она пятнадцатилетним директором и единственным учителем начальной школы возила дрова из леса, мое желание работать на кирпичном заводе не встретило бы такое отчаянное сопротивление. Но что толку размахивать после драки кулаками.

— Хорошо, поступим по-честному,— я посмотрел в глаза отцу, давая понять, что надеюсь на его поддержку. — Если вы считаете, что я маленький, сделаем так: мы с мамой будем давиться на руках. Кто кого передавит, того и взяла.

Я отодвинул в сторону хлебницу, твердо поставил на стол локоть и протянул маме раскрытую ладонь.

Отец прищелкнул языком, и я понял, что могу рассчитывать на справедливого арбитра. Но мама не приняла вызов. Решать вопросы подобным образом, заметила она, — несерьезно.

— Ты просто трусишь, потому что не уверена в своих силах,— мстительно заявил я.

* * *

Я поставил хлебницу на место. Предстояло сообщить еще одну новость.

...Речь о разбитом велосипеде была заготовлена и отретирована заранее, но сейчас ее вытеснили из головы горькие размышления о моей полнейшей несамостоятельности.

И надо же мне было повстречаться с общим врагом нашей улицы тощим мальчишкой по кличке Поп. Он славился умением выпускать папиросный дым через правое ухо, а еще — искусством заманивать чужих голубей. Я давно мечтал намылить голубиному вору шею и, разумеется, погнался за ним на своем «Орленке». Поп шнырнул в переулок и перемахнул через плетень. Я бросил велосипед на дороге и помчался вдогонку по чужим огородам. Это напоминало бег с барьерами, только вместо одинаковых стройных стоек надо было перепрыгивать через разновеликие покосившиеся плетни.

Я уже настигал Попа, как вдруг за спиной зашумела машина и тоненько, жалобно, как сейчас помню, звякнул велосипедный звонок.

На куче искореженного железа, что осталась от «Орленка», уже нельзя съездить в лес за ягодами, прикрутив к багажнику ведро, уже никогда я не привяжу к его рамке березовое удилище, собираясь на рыбалку.

— У меня с велосипедом небольшая неприятность, — выдавил я непослушным языком округлые тяжелые слова и покраснел: дернуло же меня вставить словечко «неприятность». Да еще — небольшая...

Поспешно добавил:

— Поломка.

— Если мне не изменяет память, велосипед был куплен месяц назад, — заметила мама.

Память ей не изменяла.

Отец, полагая, что у велосипеда слетела цепь, успокоил:

— Любишь кататься, люби и ремонт заниматься. А что случилось?

Я собрался с духом и выпалил:

— По нему машина проехала.

— Господи! — ахнула мама.

— Меня на нем не было, — успокоил я ее и по порядку рассказал все, как было.

— Подумать только — бросил посреди дороги, — возмущился отец. — Это ведь не пруттик, на котором мальчишки скачут, это велосипед. Он, между прочим, денег стоит. И не малых.

Мама молчала и думала, наверное, бог с ним, с велосипедом, хорошо, что сам не попал под машину.

Я сидел, опустив голову и напоминал футбольный мяч из которого выпустили воздух. Но, когда отец заикнулся о деньгах, меня как пружиной подбросило:

— Ну, отпустите меня работать. Я за лето даже на взрослый велосипед денег накоплю

— Никаких кирпичных заводов — и точка! — отрезал отец. И от него повесило таким холодом, словно за столом сидел айсберг. Чем я его так обидел?

Родители мои, переговариваясь между собой о будничных взрослых делах, собирались на работу. А я, этакий салажонок, с которым о серьезных вещах можно разговаривать только шутливым покровительственным тоном, сидел погруженный в немоту собственной вины, как рыба в аквариум

— Ваня, уберешь со стола, — строго сказала мама, закрывая за собой дверь.

Я уныло кивнул головой.

* * *

Кумар открывает дверь без стука, осторожно, словно опасается, что из комнаты на него бросится голодный тигр. Вот и сейчас он просунул в узкую щель едва приоткрытой двери крутолобую голову, стрельнул настороженными собачьими глазами и мимикой спросил: есть кто дома. Вид у него, как у молодого бычка, который собирается бодаться.

Кумар — это прозвище. И Заика — тоже прозвище. А вообще-то у него есть нормальное человеческое имя — Сашка. Прозвище мой друг получил в дошкольном возрасте распевая частушку, услышанную на гулянье. Он пел так:

Не ходите девки в лес
Кумары кусаются

А робость, с которой он крадется в наш дом, объясняется тем, что мама не поощряет нашей дружбы. Однажды нас поймали с арбузом близ совхозных бахчей. С тех пор мама говорит, что Сашка на меня вредно влияет. Хотя, если как следует разобраться с тем арбузом, то трудно сказать, кто на кого вредно повлиял.

У нас с ним не принято здороваться. Сашка спросил сразу по существу:

— Уже па-алучил в-втык?

Я кивнул головой. Вид у меня, наверное, был скорбный, потому что Сашка посочувствовал.

— Лупцевали?

Я отрицательно мотнул головой и в свою очередь спросил:

— Есть хочешь?

— П-пронзительно хо-хочется жрать.— подтвердил он мою догадку.

Быстрехонько умяв оставшуюся в кастрюле окрошку Сашка налил себе чаю. Размешав сахар, мой друг стал пристально рассматривать чайную ложечку сверкавшую серебром.

— Ха-арошая блесна,— поделился он своими наблюдениями.

— Бери.

— Ну ты скажешь!— возразил он.

— Бери, бери. Нас трое, а их много. Все равно без дела пылятся,— заверил я.

— Р-разве что,— буркнул он и сунул ложку в карман. — А чо ты какой-то п-пришибленный? Я думал — лу-уп цевали,— засовывая в тот же карман про запас пирожок спросил он.

— На работу не пускают,— упавшим голосом ответил я.

— И то: отец — на-ачальник, мать — у-учительница, зачем тебе работать,— рассудил он.— я бы на твоём месте в лагерь поехал. Загорать.

И этот туда же! Объясняй не объясняй — все равно не поймет. И я сказал деловито:

— Денег на велосипед надо заработать.

— А-а-а!

* * *

Мой друг Сашка — человек трудной судьбы. Скажете нет? А какая еще судьба может быть у мальчишки, если у него нет ни отца, ни матери и живет он совсем один, не считая древней бабки, у которой от старости голова трясется. Сашкины родители несколько лет тому назад попали в автомобильную катастрофу. Его хотели забрать в детдом, но бабка не отдала. Нет, Сашка самостоятельным человеком. Он, если разобраться, хозяин в доме, а не бабка. Сашка вполне независимый и довольно взрослый, он даже в футбол не играет, не говоря уже о «чижике», «клеке» и прятках. Некогда ему с пацанной возиться. Что касается меня, то, во-первых, у каждого человека должен быть друг, а во-вторых, мы оба любим фантастику.

В-третьих, у нас есть тайна. Одна на двоих.

Битый час мы с Сашкой пытались отремонтировать по калеченный «Орленок». Бесполезное, но увлекательное за

нятие. Солнце печет — даже в сарае душно. Искупаться бы...

* * *

Иногда по дороге на реку нам везло: мы видели, как дядя Митяй, прислонившись к старым скрипучим дверям бойни, пьет из помятой алюминиевой кружки теплую кровь только что убитого быка. Рукава рубашки с лопнувшими под мышками швами небрежно закатаны, весь дядя Митяй в красных брызгах. Он пьет не торопясь, как мужчины пьют пиво, а мальчишки — третий стакан лимонада. Коренастый и невысокий, с густой рыжей шевелюрой, начинающей расти почти из бровей, чрезмерно мускулистый и нелюдимый, он словно появился из таинственного темного времени, когда люди жили в каменных пещерах и охотились на мамонтов. От бойни тянуло сладковатым приторным запахом. Один я пробегал мимо не дыша. Но с Сашкой мы останавливались и уважительно наблюдали, как дядя Митяй опорожняет кружку. Прошлым летом он дал мне и Сашке отпить по глотку из кружки. Мы были польщены и ужасно гордились, но близко к бойне уже не подходили.

Дядя Митяй любил свое кровавое ремесло. Только здесь, в маленькой дурно пахнувшей бойне на краю села мы видели его улыбающимся. И не было для него приятней музыки, чем неотвязный гул тяжелых зеленых мух, круживших над свежими внутренностями животных.

Мы с Сашкой не любили дядю Митяя. И вот почему

* * *

В летние каникулы прошлого года отец подарил мне старый военный бинокль. В стожке соломы, сложенном на крыше сарая, мы с Сашкой свили себе гнездо и по очереди наблюдали за селом.

Был август — время, когда пронзительно визжат пилы и веселые, усыпанные опилками палачи четвертуют на скрипучих козлах березовые бревна. Вразнобой, весело стучат топоры, словно все дятлы из окрестных лесов слетелись в село. Солнце щедро отдает последние летние запасы тепла. Растут у стен сараев поленицы.

Сквозь расплывчатую золотистую решетку соломинок виден в бинокль широкий двор. От сарая до шеста, воткнутого в плетень, натянута бельевая веревка, на которой вниз рукавами висят рубашки. В помятом корыте с грязной водой

для уток отражается солнце. Белая, ослепительно белая стена дома с чистым окном без ставен и наличника. Дядя Митяй колет дрова.

Открылась дверь, испещренная ножевыми ранками — следами мальчишеских упражнений в метании складешка. Вышла Ася. В фартуке у нее — пареная пшеница для утят. Следом за ней с трудом перевалил через порог белый котенок. Он зажмурился, зашипел, выгнув спину, на ослепившее его солнце и стал похож на одуванчик.

Когда я вижу Асю, мне вспоминается зимний вечер. Мы идем из школы. Падает снег. Фонарик в моих руках — световой меч, которым я кромсаю небо. И вдруг сверкающее лезвие исчезает, а на стекле фонарика — длинные алые пальцы Аси. Когда я смотрю на дядю Митяя, мне не верится, что эта худенькая девочка (в синем ситцевом платье, вечно куда-то спешащая, она кажется маленьким парусом, подхваченным озорным ветром), мне не верится, что Ася — дочь дяди Митяя. Это даже немножко жутко.

Ася высыпала пшеницу в корыто и убежала в дом. Котенок боком, словно его несло ветром, а он только и успевал, что переставлять ноги, заковылял по двору. Он был до смешного не страшным, но цыплята испугались его и бросились со всех ног под клушкины крылья.

Дядя Митяй подозвал котенка. Положил его на чурбан. Одной рукой придержал. Поднял с кучи шепок топор и... разрубил котенка пополам.

* * *

В огороде у дяди Митяя рос тополь, самое большое дерево в селе. Его посадил дед дяди Митяя в день своей свадьбы. На высоте десяти метров тополь делился на пять толстых ветвей и напоминал человеческую руку. Мы решили наказать дядю Митяя — спилить дерево.

* * *

Ночью, не зажигая света, я на цыпочках вышел в сени, стараясь не звякнуть, осторожно снял с гвоздя пилу и выскользнул на улицу. Я был босой и пока добежал до Сашкиного дома, замерз: земля по ночам отдавала осенней прохладой.

Концом удилища постучал в дверцу чердака, где летом спал Сашка.

— От-тойди,— зашипел он,— я т-топор кину.

Топор мягко воткнулся в землю, и лестница зашаталась под Сашкиными ногами.

...Пронзительный звук стрелой сорвался с зубьев пилы, пролетел вдоль улицы и где-то за селом затих, вонзившись в стог сена. Залаяли собаки. Закусив губы, мы пилили ствол дерева, и рой вибрирующих стрел сыпался на ночное село, застревая в плетнях, отскакивая от стекол и влетая в открытые форточки. Никто нам не помешал. Тополь рос в конце огорода, и дядя Митяй, наверное, подумал: пилят дрова соседи напротив, экая невидаль, пусть себе пилят, если дня не хватило. А соседи напротив то же самое подумали о дяде Митяе.

— 3-з-заело,— по-пчелиному пропел Сашка.— Дай топор.

Недорубленные волокна звучно лопались. Я упал лицом в картофельную ботву, не соображая, в какую сторону свалится тополь. Налетел и стих порыв ветра. Захрустели сухие ребра плетня, кончиком ветки меня больно хлестнуло по спине.

Когда мы убегали, пила больно царапалась зубьями и трепетала в моих руках, как только что пойманная щука. За спиной бабахнули в небо из двухстволки.

...На следующий день дядя Митяй обрубил ветви тополя, а его сыновья Венька и Сережка распилили ствол на ровные зеленые чурбаны, которые перенесли к сараю и, расколов, сложили из полешек стенку. Оказывается, дядя Митяй уже давно хотел спилить тополь, да все руки не доходили. В день перед нашим разбоем дядя Митяй поссорился по этому поводу с женой. «Растет и пусть себе растет, он хлеба не просит,— говорила тетя Аня,— зачем красоту-то такую губить». «Нашла красоту,— ворчал дядя Митяй,— выберу время, я этот сорняк с корнем вырву».

От тополя остался пенёк. На пне, опершись прямыми руками о края влажного среза, сидела Ася. Худенькие плечи ее были подняты, как у воробья под дождем. Кончиком языка она слизывала слезинки, которые скатывались к уголкам рта.

Так вышло, что мы отомстили ни в чем не виноватой Асе, всему селу, лишив его самого большого и красивого дерева, и порадовали человека, которому хотели досадить. Мы поступили ничуть не лучше дяди Митяя. В селе не знают, кто спилил тополь. Мы с Сашкой стараемся не попадаться на глаза Асе.

— Ну, как дела, рабочий класс?— спрашивает меня отец, разворачивая газету, и незаметно переглядывается с мамой.

Им всегда кажется, что я ничего не замечаю.

Я фыркаю, как кот, которому вместо мяса подсунули шоколадную конфету, и оставляю вопрос без ответа.

Завидую Сашке: он работает на кирпичном заводе. Я тоже работаю. Только разве это работа?

Я мою бутылки на райпотребсоюзовских складах... Делается это так. Передо мной стоит бочка с водой. В ней я топлю бутылки. С хлюпаньем и бульканьем из узких горлышек выкатываются пузырьки воздуха. Затыкаю отверстие большим пальцем и взбалтываю бутылку, пока вода в ней не запенится. Сливаю воду в бочку, соскабливаю следы этикетки, обтираю бутылку тряпкой, обматываю ее стружками, чтобы не побилась по дороге на винзавод, кладу в ящик. Беру новую бутылку и процесс повторяется.

Со мной работают одни девчонки. Хорошо, что склады со всех сторон обнесены трехметровым забором и с улицы меня не видно, весь день только и слышно: «Ах, девочки!», «Ой, девочки!». Они меня за человека не считают, все свои секреты выбалтывают, будто меня и нет, — и кто кому нравится, и кто за кем бегаёт, и как шить сарафан, и какой у кого купальник. Только перестанут трещать — поют. Правда, тоже про любовь, но пережить можно.

А вчера вдруг — писк, визг, паника. Испугались. И кого вы думаете? Тарантула... Он в стружки залез, а они переполошились. Я его в пучке стружек к забору понес, где тарантулиную норку видел, а они кричат вслед: «Убей, каблуком раздави!» До чего, оказывается, кровожадный народ эти нежные создания. Большое геройство — беззащитного паука раздавить! А главное, за что? Кусается? Так ведь жить-то хочется, простая самооборона без оружия. И если разобраться, он имеет такое же право на существование, как и мы. К тому же, говорят, кровь у него голубая. И вообще, если направо-налево всех жуков, которые им не нравятся, давить, то с одними девчонками на земле останемся. Тоже, по-моему, радости мало.

Не считая этого тарантула, ничего интересного. Работа для умышленно недоразвитых. Плохи мои дела. Вся улица смеется.

От девчонок я отгородился ящиками. Только одно солнце заглядывало ко мне.

Ополаскиваю сегодня бутылки, размышляю о своей неудачной жизни и вдруг в просвете между ящиков вижу — идет мой заклятый враг Поп. Идет и важно помахивает молотком. Карманы у него оттопыриваются, из них ежачьими колючками торчат гвозди. Подходит Поп к ящикам готовым на отправку, сует по-мастеровому в рот пригоршню гвоздей и, я бы сказал, с надменным видом заколачивает крышки. И хоть он мой враг, хоть вспомнил я и своего сизого «трубача», и разбитый «Орленок», но надо отдать должное — добился человек приличной мужской работы. Меня из-за ящиков он не видит. Рисует перед девчонками. Уселся на заколоченный ящик, достал из фуражки «бычок» и небрежно, как дорогую сигарету, сует его в рот. Показывает свою «коронку»: зажав рукой нос, пыжится — дым струится через ухо. Перекуривает, зыркает сорочьими глазами по сторонам. Ящики, которые он заколачивает, стоят у забора. Выждав момент, когда в его сторону никто не смотрит, Поп молниеносным натренированным движением бросает через себя бутылку. Перелетев забор, почти без звука она падает на мягкую землю пчелиного луга. Поп, жонглируя бутылками, делает бизнес. Дальнейший путь стеклотары легко предугадать. После работы Поп соберет посуду в заранее припрятанный мешок и сдаст в ближайший магазин. Из магазина бутылки снова привезут на склад. Я опять помою их, а Поп выкинет через забор и сдаст. Такой вот круговорот бутылок в природе.

«Бычок» докурен. Молоток воришки стучит все ближе. И вот, наконец, Поп, насвистывая, входит в колодец из ящиков, которыми я отгородился от мира. Мы сталкиваемся нос к носу. Воспользовавшись секундной растерянностью врага, я вырываю из его рук молоток и отшвыриваю за ящики. Противник разоружен.

— Ты чего?— пугается Поп.

— Добрый день!— приветствую я его и как всегда перед дракой снимаю очки и кладу их в задний карман брюк.

Словесная дуэль — очень важный момент в драке. Самая блистательная победа одерживается без помощи кулаков, когда человек одним своим видом обращает противника в бегство. Эта дуэль канонизирована с незапамятных времен. Еще наши много раз прадедушки, когда в мальчишестве сходились нос к носу, во-первых, припоминали старые и

свежие обиды, то есть объясняли, за что собственно собираются поколотить своего недруга. Если соперник попадался с норовом, он бравировал своей виной. Следующий этап словесного поединка состоит из взаимных принижений бойцовских качеств неприятеля. И только распалившись и выяснив, что продолжить спор можно лишь на кулаках, противники приступали к основной части поединка.

В жизни все должно быть честно. Особенно в драке. Но Поп, презрев дипломатию, отплатил засаду неожиданностью нападения. Он лягнул меня ногой, и не успел я опомниться, как с возгласом: «Посудомойка!» боднул головой в подбородок. Удары посыпались градом, и по их силе я догадался, что Поп успел зажать в кулак свинчатку. Пришлось уйти в глухую защиту. Но в тот самый момент, когда противник готов был торжествовать и лез напропалую, я залепил ему кулаком в нос и перешел в контратаку.

Сквозь сопенье нашей потасовки слышалась хоровая песня девчонок о несчастной любви и робкое позвякивание стекла. Закуток, в котором мы выясняли отношения, был тесен, и, когда от бокса пришлось перейти к борьбе, стены из ящиков рухнули, только что вымытые мной бутылки посыпались на булыжники и, разбиваясь, скандально зазвенели.

Занавес поднялся, и мы предстали перед зрителями во всей петушиной красе. Девчонки завизжали. Топая кирзовыми сапогами, к нам бежали грузчики. Мелко семеня короткими ножками в кожаных тапочках, поспешала заведующая складом. У нее мелко, как холодец, тряслись толстые щеки и грузно подрагивал огромный живот.

— Ах, сопляки, ты посмотри, что они делают,— кричала она, ни к кому конкретно не обращаясь,— ах, я вас!

И она на бегу озиралась по сторонам в поисках хворостины.

Здоровенный бородатый грузчик схватил нас медвежьими лапами за вороты рубах и развел руки в стороны. Мы с Попом телипались, как щенки, поднятые за холки, пытались достать друг друга, а он, похохатывая и слегка потрясывая нас, бормотал с иронией:

— Но, но, не балуй, не балуй...

— Мы еще встретимся в бане возле крантика, — туманно пообещал мне полуподвешенный Поп, прикрывая ладонью нос.

— Встретимся, встретимся,— заверил его я, облизывая разбитые губы.

Всеобщее возмущение, брань и нравоучительные подзатыльники обрушились на наши головы.

Поле битвы было усеяно разноцветным стеклом, отбитыми доньшками, через которые малыши любят смотреть на солнце, и изящными горлышками бутылок. Я с тоской подумал: успел ли заработать столько денег, чтобы расплатиться за эти стеклышки.

— А еще в очках ходит хулиган! — тоненько пискнула какая-то девчонка.

Я сунул руку в карман. Стекла очков были тоже разбиты.

* * *

Мальчишки нашей улицы завидуют мне, потому что родители меня ни разу не колотили. По общему мнению мальчишек моего поколения, нашим отцам под горячую руку лучше не попадаться: все они вернулись с фронта, и фашисты здорово попортили им нервы. Обстановку мы понимали правильно: к отцовским подзатыльникам относились с пониманием и люто ненавидели фашистов.

Моему отцу фашисты тоже попортили нервы, но он меня никогда не бил. Я же в свою очередь завидовал пацанам. Подзатыльник или, возьмем крайний случай, ременная порка страшны только до момента наказания. Свое получил — ходи и радуйся, на душе светло и совесть чиста. А вот разговор с отцом и мамой тяготит и до, и после. Пока это все забудется, посидеть от переживаний можно.

Тяжело осознавать себя подрывателем семейного авторитета.

И зачем я связался с этим Попом?

Сколько раз давал себе слово думать прежде, чем что-то сделать. Но вина за очередной проступок постепенно не парялась, и я вновь что-то делал, а потом уже думал правильно ли поступил.

Хорошо бы постоянно чувствовать себя виноватым. Только чтобы вины никакой не было.

* * *

В тяжелые минуты своей жизни я приходил к Камню. Он лежал на берегу Ишима левее переката Барашево, где до поселения купались малыши, а шоферы мыли свои «полторки» и редкие еще «газики». Я садился верхом на Камень, смотрел на вечно текущую воду, которая ласково расчесывала изумрудно-зеленые водоросли, и размышлял о себе.

ственной горькой судьбе. За моей спиной высился обрывистый берег, словно пулями изрешеченный стрижиными гнездами. Вниз по течению реки виднелась Заячья губа. Вода там отдавала особенно густой синевой. Противоположный берег горбился мрачной сопкой с каменистыми обнажениями. Под ней зеленели кусты камыша и желтел песчаный островок. Учитель физики говорил, что когда-то на месте, где стоит наш райцентр, штормило древнее море, а совсем давно высились неприступные скалы. Я представил себе, что вершина этой сопки когда-то была покрыта вечным снегом и ее редко было видно из-за облаков, а из вот такой же голубой воды выходили на берег чудовишные ихтиозавры и медленно отряхивались...

— Привет, Ваню!— невнятно окликает меня голос, и холодные брызги летят мне на спину. Я вздрогнул и оглянулся. С полным ртом сладких сухарей, весь покрытый гусяной кожей, образовавшейся от долгого купания, стоит одноклассник Мурат, толстый и добродушный пацан. У него зуб на зуб не попадает, но он все-таки ухитряется жевать. Его отец работает пекарем, Мурат помогает ему печь хлеб и оттого пахнет свежей булкой.

— Хочешь пожевать,— протягивает он горсть сухарей. Это особое знаменитое лакомство — ошметки запеченного теста самых причудливых форм, которыми Мурат угощает всех мальчишек с нашей улицы.

— Почему не купаешься?— спрашивает одноклассник, пыхтя устроиваясь на теплом Камне рядом со мной, участливо интересуется, кивая на мои разбитые губы:— Кто это тебя так отделал?

Я отмахиваюсь: пусть первым не лезет. Разгрызаю твердый и еще теплый сухарь. С завистью думаю о Мурате: вот человек, который трудом добывает хлеб свой засушенный в прямом и переносном смыслах. Люди работают, а я (эх, даже на бутылках не мог удержаться!) греюсь на солнышке, как последний сачок, и поедая их хлеб.

— Что сегодня пекли?— спрашиваю я Мурата.

— У, сегодня хлеб мировой, первый сорт.

Представляю, как на ужин мама принесет булку мирового первосортного хлеба и как я буду уплетать его с холодным молоком.

Грустно спрашиваю, заранее зная ответ:

— А ты бы смог один без отца спечь хлеб?

— А чего? Как батя подопьет, так...

Но я так и не узнал, что делает Мурат в этой ситуации.

— Тонет! Тонет! — вразнобой закричала малышня, словно стайка мальков плескавшаяся до этого на мели.

У меня скнуло сердце: вот оно! Предошущение близкого подвига окатило меня морозной волной.

* * *

Барашево — коварное место. Реку здесь можно перейти вброд, но нужно хорошо знать этот извилистый путь. На мелководье вдруг уходит из-под ног дно и человек проваливается в трехметровую яму. И славно еще, если это не воронка, а то закрутит, как щепку.

...Я бегу. Вода уже выше колен и валит с ног. Приходится выпрыгивать над водой, чтобы подальше вперед занести ногу. Не знаю, как другие, но я, чем сильнее испугаюсь, тем отчаяннее становлюсь. В этот раз я здорово перепугался. К тому же тонула девчонка. И не просто какая-нибудь задавака, а Ася. При девчонках вообще становишься храбрее отчего-то.

Когда вода дошла до пояса, я пронырнул и, напрягая до предела мышцы рук и ног, поплыл кролем. Никогда я не плыл так быстро и никогда еще мне не казалось, что я плыву так медленно. Я так спешил, что чуть не проплыл мимо Аси.

Я ни разу не спасал утопленников и действовал по интуиции: подныривал и выталкивал Асю наверх. Не хватало воздуха и не было сил. Я ничего не помню, кроме беспорядочного мельтешенья рук и ног, бессмысленных Асиных глаз, синего купальника и черных обморочных пятен. До края ямы оставалось не больше трех метров, когда я понял, что тоже тону.

Но в это время подоспел Мурат, с громким чавканьем жующий свой сухарь. Он бежал не так ретиво, как я, зато прихватил на берегу тальниковое удилище, при помощи которого и выудил меня вместе с Асей на отмель.

Подхватив Асю под руки, мы, задыхаясь, бежали по отмели к берегу. Впереди нас, заглядывая утопленнице в лицо, почетным эскортом скакали малыши. Мои уши были полны воды. Плеск, голоса малышей и неокрепший басок Мурата доходили до меня приглушенно, словно сквозь сон.

Как назло на берегу не было ни одного взрослого. Опустив Асю на песок, мы с Муратом испуганно переглянулись. Мурат от волнения жевал, как заведенный. Я опустился на колени в изголовье бездыханной девочки и в отчаянии принялся поднимать и опускать ее безжизненные руки.

Меня бил озноб и противно стучали зубы. Посиневшая от долгого купания, дрожащая пацанва в мокрых трусах ок ружала нас.

— Мушкой на дорогу! — скомандовал Мурат, подталкивая мальчишек в спины. — Кого увидите, зовите сюда. Встретите машину — останавливайте!

— В рот ей подуй, — посоветовал он мне.

Я наклоняюсь над Асиным лицом, прижимаюсь губами к ее полураскрытым губам и что есть силы дую.

— Живая, — суеверно прошептал Мурат. Он все так же нервно жевал свой сухарь.

Ресницы дрогнули, и Ася медленно раскрыла глаза. Они были карие, подернутые нездешней какой-то дымкой. Каштановые волосы рассыпались по песку, по ним ползали муравьи. К щеке прилипли светлые песчинки, а на длинной тонкой шее там, где угадывалась вена, слегка вздрагивала смуглая кожа. До меня вдруг дошло, что несколько секунд тому назад я впервые в своей жизни поцеловал девчонку. Даже в жар бросило. Хорошо еще, что кроме Мурата этого никто не видел...

Вихрем налетела тетка в белом халате и бесцеремонно оттеснила меня в сторону. Я подумал, что она врач, но вспомнил, что видел ее на маслозаводе: мы с Сашкой хотели полакомиться казеином, сушившимся на солнце, а она так нас шуганула, что я полштанины оставил на штaketниковой ограде. Маслозавод стоит метрах в трехстах от реки.

Мудро решив не мозолять строгой женщине глаза, я пошел к Камню, поплелся за мной и Мурат. Он поминутно оглядывался и громко чавкал.

По дороге, полого спускающейся берегом к реке, катилась старая «полуторка». В густой пыли, поднятой ей, мелькали ребячьи ноги. Казалось, что пылевое облако на собственных ногах спешит к нам на помощь. Вскоре возле Аси толпились с десяток взрослых.

Прыгая на одной ноге, я принялся вытряхивать из ушей воду. В ушах вначале долго булькало, потом делалось горячо, и звуки вновь обретали чистоту и звонкость.

— Хорошо, что она не успела нахлебаться, — сказал Мурат.

Он все еще с сопеньем жевал, широко раскрывая при этом рот. Я заглянул в него и увидел лишь розовый язык. Во рту у Мурата не было ни крошки.

В тот день я долго сидел на Камне, смотрел на спокойные гладкие волны, которые образуются не от ветра — просто воду колышут далекие купальщики. Я и думать забыл о драке с Попом. Сидел и вспоминал один случай...

...Стояло долгое бездождье. От тонкого налета пыли день выглядел вылинявшим, блеклым. В дырявой тени плетня Овражного переуллка мальчишки лениво играли в «чикку». Стучали ребром свинцовой биты по сплюсненным медякам, скучно переругивались.

Вдруг в сонной тишине зазвенело ведро. Праздничный звон катился вдоль низкорослых кустов акации, из которых и выбежал босой мальчишка в штанах, подпоясанных старым солдатским ремнем с позеленевшей пряжкой, густые белесые волосы спутаны, как клубок тонкой леси, на локтях — садины. Яманок (именно так произносил он свое имя — Романок) так быстро бежал по дороге, словно ему шекотали пятки.

— Утопъеник! — взволнованно прокричал он и припустил еще быстрее.

Когда на реке тонул человек, Яманок каким-то образом узнавал о несчастье и, прихватив старый подойник, спешил к месту происшествия, где терпеливо сидел на перевернутом ведре, ожидая, когда ныряльщики убедятся в тщетности попыток отыскать утонувшего. Он знал, что скоро принесут невод или бредень, и тогда наступит его час. Когда бредень освобождали от травы, вместе с ней на берег выбрасывали и рыбу. Для нее-то и приносил Яманок ведро из дома.

Беспорядочной галдящей толпой мы побежали вслед за Яманком, словно не старый подойник держал он в руке, а школьный звонок, и все мы опаздывали на урок.

На берегу, в том месте, где река плавно поворачивает огибая Камень, тихо причитая стояли женщины. Они смотрели на серую гладь воды, на молодых крепких парней погружающихся на дно. И когда кто-нибудь из них выныривал, становилось так тихо, что было слышно, как сонно гудит овод.

В толпе вполголоса пересказывают тем, кто прибежал позже: «Стал тонуть средний, Вася, старший брат поплыл спасать. Обоих закрутило. Тогда младший прыгнул. Всех затянуло...»

— Жалко пацанов, хорошие были пацаны.

Ныряльщики поплыли в то место, куда по их расчетам отнесло мальчишек. Они подолгу держатся под водой. На берегу горестный женский шепот:

— Старший отличником был.

— Мать с отцом в отпуске, в доме одна бабушка. Старенькая, не доглядела.

— Горе-то какое.

— Ты что здесь околачиваешься — напустилась мать на сына, — марш домой и чтобы ноги твоей на реке не было. Родил вас да дрожи весь век.

И снова

— Родителям телеграмму отбили.

— Уж очень дружные ребята-то были, не разлей вода..

— Их, должно быть, течением отнесло, нужно ближе к берегу искать...

— Горе-то, горе какое...

Тихий совместный плач-причитание.

На песке у самой воды сидела Ася. Большие глаза ее пристально смотрели на воронку. Трусика еще не обсохли после купания. Она все видела. Над ней кружит овод. Вот он устранивается на ее плече и тонким жалом прокалывает кожу. Ася вздрагивает, отгоняет овода инстинктивным движением руки и смотрит, смотрит, словно замороженная, на воронку. Овод летает около, примериваясь, куда бы укусить. Кружится и ровно шумит вода в воронке. Куда бы ты ни смотрел, она затаит, закружит и утопит твой взгляд в пенистой жадной горловине. От невесомого страха слабо кружится голова и подташнивает. Нет сил сжать в кулак пальцы, сделать шаг.

— Бабка совсем плоха, сердечница..

Яманок прячет ведро в кустах долины. Вчера он подрался с одним из братьев. Вчера

* * *

Щитовой дом, в котором жили родители утонувших братьев, стоял в тени элеватора. Бельевая веревка прорезала эту тень. На ней висели три белые рубашки. Задиристый ветер пытался сорвать их с прищепок. Двери дома широко открыты. Холодом и неприбранностью веет из темного проема.

Три дня прошло, как похоронили братьев, а перед моими глазами все еще кружилась и шумела воронка. День и ночь она затягивала меня, как бы далеко я не находился от реки. Она будет кружиться неотступно кружиться в моем сознании, пока не пройдет страх. Может быть всю жизнь.

— Ты отчего скис? — пристально смотрит в глаза мне отец.

Мы загорали с ним на Камне. Метрах в ста от той самой воронки. Река обмелела и водоворот потерял былую силу, но порой он словно просыпался и глухо шумел.

— Так, ягод зеленых объелся, — я отвел глаза и помимо своей воли уставился на воронку.

Отец словно прочитал мои мысли:

— Если таяет в воронку — главное не трусь. Будешь барахтаться — утонешь. Нужно набрать в легкие воздуха и нырнуть.

Отец поднялся. С минуту он стоял на Камне, напрягая и ослабляя мышцы ног, посмотрел сверху вниз мне в глаза, потрепал за шею и легко прыгнул в воду.

Он поплыл к воронке.

— Вернись! — кричу ему вслед. — Я все понял, я не трушу!

— Смотри! — отец как бы слегка выпрыгнул из воды и резко нырнул в стремительную спираль воронки. Я торопливо считал про себя секунды. Отца долго не было. Он вынырнул далеко от воронки и закричал на всю реку:

— Главное — не трусить!

И тогда я тоже прыгнул с Камня в воду, хотя под коленками у меня щекоotalo, а в животе холодило от страха. Я решился не потому, что хотел показать отцу, какой я смелый, а потому что мне надоело считать себя жалким трусом.

Отец плыл мне наперерез и кричал: «Назад! Назад! Уши оборву!» Но его слишком далеко отнесло в сторону.

Когда я почувствовал, как ватягивает меня воронка, то сделал все, что говорил мне отец. Меня кружило в темноте и холоде, я потерял ориентиры, мне не хватало воздуха. Мне было страшно. Но это был уже не тот парализующий страх кролика перед удавом. По-настоящему страшно бывает тогда, когда думаешь сделать что-то рискованное. Но стоит начать это делать — и страх уже не мешает, а наоборот помогает. Я думал только об одном: главное — не барахтаться, главное — скорее донырнуть до дна и посильнее оттолкнуться от него в сторону. Я так и сделал. Невидимая и сильная струя подхватила меня у мутного дна и вынесла прочь от воронки. Мне оставалось лишь изо всех сил подгрести под себя воду и колотить ногами.

Когда я вынырнул на поверхность, судорожно и жадно вдохнул воздух, который наполнил легкие кислородом и болью, меня подхватили сильные руки отца. Мы выплыли на берег и долго лежали на горячем Камне. Я ничего не

делал. Я просто дышал. Дышал и думал, какое это удовольствие: дышать чистым речным воздухом.

— Отлупить бы тебя надо, — сказал отец. Я согласился с ним: надо бы. Он немного подумал. Видно, лупить меня ему не очень хотелось. Подумал и решил:

— Я и сам виноват. Лезть самому в воронку не стоит Глупость. Но кто знает, когда и где тебя затынет в нее Вот тогда не трусь, делай, как сегодня.

Я дал ему слово не прыгать сдуру в воронку, а он наградил меня поощрительным подзатыльником.

Об этом случае мы с отцом никому не рассказывали: вдруг узнает мама. Да и если разобраться, действительно глупо лезть без надобности в воронку.

* * *

Мне приснился сон: будто бы надо мной склонилась мама и поцеловала в лоб. Я открыл глаза и увидел, что это не сон.

Я редко вижу маму без очков, а очки придают ее лицу выражение строгой озабоченности. Сейчас мне показалось, что вместе с очками она сняла маску, которую надевает каждый раз, проснувшись.

— Мне рассказали: вы с Муратом спасли девочку. Я так переволновалась, ты такой неосторожный...

Я так и не понял, хотела ли она меня похвалить или поругать. Сын, можно сказать, совершил подвиг, а у нее одно на уме: хорошо, что хоть жив остался.

На плече у мамы лежала папина рука. Отец тоже был без очков. Когда они остаются одни, у них, наверное, всегда такие лица. Я посмотрел на них и внутренне с большим облегчением вздохнул. Как удачно подвернулась утопленница! Я спас Асю, Ася спасла меня от нагоняя. Не зря говорят: посуда бьется на счастье. С вечера я лег спать не ужиная, и сейчас, увидев мои разбитые убы, мама лишь слегка пожурила меня, не вникая глубоко в причины.

— Завтрак я накрыла газетой, — сказала она уходя.

...Я лежал во всем белом, подложив под голову кулак, и смотрел в абсолютно белый потолок. На душе было спокойно и хорошо. И я как можно дольше хотел сохранить это настроение, представляя, как по утреннему селу отец и мама идут на работу и на душе у них тоже спокойно и хорошо.

Я жевал хрустящую корочку-горбушку и запивал холодным молоком. Мурат не зря рекламировал свой хлеб. Есть его — удовольствие, но, наверное, в сто раз приятнее выпечь самому такую упругую, румяную буханку с золотистой корочкой.

Я ел и размышлял: почему для того, чтобы работать, нужно обязательно устраиваться на работу? Для того, чтобы твою фамилию записали в каких-то бумагах, по которым начисляют деньги? А если человек желает просто работать? Может же он прийти и просто работать, без денег? Никто ему этого не запретит. Не имеют права. Напротив, все будут рады человеку, который помогает бескорыстно.

Я удивился, как эта мысль не пришла мне в голову раньше.

Пойду на кирпичный завод и буду работать бесплатно. Ну, может быть, не совсем бесплатно. Например, я буду помогать Сашке. Работу, которую сделаю я, прибавят к его работе. Таким образом, Сашка получит денег в два раза больше.

Конечно, лучше бы получить за работу деньги, тогда я бы мог купить новый велосипед.

Кирпичный завод построил еще до революции купец, имя которого уже никто не помнит. Из года в год в карьере на краю села берут глину, а ее словно не убывает. Котловина делается все шире и глубже и все больше кирпичных домов появляется в нашем районе. Отец шутит, что именно из глины этого карьера бог вылепил первого человека — Адама.

На заводе больше всего мне нравятся склады для сушки кирпича. Двусоставные китайские крыши из красного железа прочно держались на каркасе из толстых просмоленных бревен. Нижний ярус крыш спускался почти до земли.

Я хорошо знал все уголки завода и весь процесс производства кирпича. Завод работает только летом. Зимой мы играли здесь в войну и катались по крутым склонам карьера на санках.

Вот по рельсам эстакады со дна глиняной ямы медленно ползет вверх тяжелая вагонетка. Поднимают ее при помощи ручной лебедки, похожей на обыкновенный колодезный ворот с рукоятками по обе стороны. Грузят вагонетку глиной и крутят ворот взрослые. Глина по цвету напоминает желток

сваренного вкрутую куриного яйца. Под острыми лезвиями штыковых лопат она режется пластинами, но когда проходит дождь, становится липкой и вязкой.

Мне бы хотелось крутить ворот лебедки, чтобы за лето накачать такие же мышцы, как у старшекласника Борьки по кличке Амбал. Он работал на пару со своим отцом. В это росное утро я прибежал на завод в новых кедах, специально обутых по поводу самовольного выхода на работу, и в первую очередь заглянул к Амбалу. Он с отцом поднимал вверх вагонетку. По их рельефным телам крутыми волнами вздувались и опадали мышцы. Мускулы напрягались в такой последовательности: сначала, когда они отталкивали поочередно от себя рукоятки, обозначались трицепсы и тугими полусолнцами вырисовывались грудные мышцы, потом вздувались шары плечевых мышц, а когда они тянули рукоятки к себе, бицепсы у них каменели так, что оба могли сгибать руки в локтях только до прямого угла. Спина бугрилась и кожа натягивалась так, что можно было пересчитать все позвонки. Нет ничего красивее упругих тел, покрытых золотистым бисером пота, с усилием преодолевающих сопротивление тяжести. Натянутый, как басовая струна на грифе гитары, трос ровно с четким пощелкиванием, словно нитка на шпульку, наматывался на барабан. Тяжелая вагонетка, доверху груженная рыжей глиной, казалось, не вкатывалась, а легко взлетала на склон, будто надутый дымом шар. Повизгивали железные колеса по истертым и блестящим, как нержавеющей ножи, рельсам. Лебедка... Есть же на свете такие красивые слова!

Борька, выпятив губу, подул на свое лицо. Пот, стекая по лбу, застрял в бровях и здорово шекотал.

— К кому пришел, Ваню? — не переставая крутить лебедку, спросил он меня.

— Работать, — со скромной гордостью ответил я.

— Понятно. А зачем кеды надел? Запачкаешь.

Вагонетка перевалилась через край карьера и замерла на ровной площадке под дощатым навесом. Борька наклонился, вытащил какой-то стержень, показал рукой: отойди в сторону. Вагонетка, как самосвал, выгрузила содержимое вниз, в грохочущую машину, которая, чавкая, перемешивала глину и выдавливала из себя коричневый с прозеленью брус холодной плотно спрессованной массы.

Если бы с этим брусом ничего не делали, он бы выполз через широко растворенные двери на улицу, изогнувшись змеей, нырнул в дыру забора и заскользил бы, извиваясь, между стволов березовой рощи. Но лысый человек сталь-

ными струнами, натянутыми на приспособление, подобное двоянному лобзику, точным кошачьим движением отсекал от сырой массы по два кирпича за раз, быстро возвращая свое нехитрое орудие в исходное положение. Будто скажочный богатырь отрубал у Змея Горыныча головы, но они отрастали снова и снова. Рука, выглядывающая из-под закатанной по локоть ковбойки, была покрыта густыми кучерявыми волосами. Сверху я видел лишь совершенно лысый затылок человека, работающего на маленькой гильотине, так что казалось — это лицо, на котором ничего нет.

С гильотинки сырой кирпич попадал в руки мальчишек. Голые по пояс, они выбегали из дверей крайнего сарая, толкая перед собой подвешенные на рельсе этажерки. Как городские трамвайчики на кольце маршрута, они становились в очередь за новой порцией кирпича. Ловко подхватывая со станка только что нарезанный сырец, они укладывали его на полки своих подвесных вагонеток. Нагруженный вагонетку упирался в нее прямыми руками и выбегал по темному переходу на улицу, а его место занимал следующий.

Очередная вагонетка запаздывала. Старик механик выключил машину. Наступила тишина. Стало слышно, как где-то далеко повизгивает ушедшая вагонетка и гудит рельс.

Человек, нарезавший кирпичи, поднял голову. Я увидел косматые брови, глубокие морщины, длинный крючковатый нос и пышные усы цвета вороньего крыла, закрывающие рот. Он посмотрел на меня черными глазами, в которых светились веселые огоньки, и подмигнул. Я ему ответил тем же. Он достал из нагрудного кармана папиросу и разминая ее, опустился на грубо сколоченный из неструганных досок табурет.

— Что куришь? — спросил его механик. Он был одет в черный халат, и седые усы так и бросались в глаза своей вызывающей белизной.

— Гвоздики, — пророкотал лысый и протянул механику папиросу, которую готовил для себя. Достал из кармана еще одну.

Старики неторопливо закурили. Черноусый, как бы продолжая разговор, приятно зарокотал:

— Я в воскресенье ведро карасей наловил.

— Это где же? — спросил белоусый.

— На Крестовой.

Оба выпустили по облаку дыма и одновременно повернули головы на звук приближающейся вагонетки.

— На червя? — спросил белоусый, включая машину. Черноусый кивнул головой и прокричал сквозь хлынувший грохот:

— С лодки!

* * *

Мальчишка, из-за которого был устроен перекур, не спеша выкатил пустую вагонетку из сарая. Шел он солидно, вперевалочку. Это был Сашка. Я спустился вниз по деревянному настилу и стал помогать ему укладывать кирпичи — на ребро, в два ряда на полку. А всего полков было пять.

— Ты чей? — крикнул мне черноусый.

— М-мой д-друг, — ответил за меня Сашка.

Ответ был исчерпывающим и авторитетным, он удовлетворил любопытство человека, нарезающего кирпичи.

Когда мы нагрузили вагонетку, я хотел помочь Сашке толкать ее, но он бесцеремонно отпихнул меня. Пришлось трусцой бежать сбоку-припеку.

Подвешенный на сосновых перекладинах рельс замкнутой кривой проходил по всей территории кирпичного завода. Словно бусинки на нем были нанизаны длинные и сумрачные сарай-склады, в которых лежал в штабелях сырой кирпич.

— З-зачем пришел? — тоном пожилого мужчины спросил меня Сашка. Он жутко повзрослел за две недели. Кожа побронзовела, волосы выгорели, голос поглубел.

— Работать.

— М-мать разрешила?

Я объяснил свое намерение работать тайком и бесплатно.

— Д-дурак, что ли? — изумился мой дружок.

— Почему дурак? — обиделся я.

— Только д-дураки задаром раб-ботают, — охотно разъяснил он.

Когда мы вбегали в сарай, ролики, катясь по рельсу, гремели громче. Полумрак был разлинован полосами света, проникающего сквозь дыры в сарае. Пахло сырой глиной и было прохладно. А когда выбегали из сарая, казалось, будто маленький поезд выскакивал из темного туннеля. По обе стороны утоптанной под рельсом тропинки зеленел и цвел девственный луг, по которому прыгали разноцветные, разнокалиберные кузнечики. Над лугом тяжелыми бомбовозами гудели шмели, бесшумно порхали бабочки, и пчелы, взлетая, раскачивали цветы. На улице вагонетка звенела

рассыпчато и весело, даже повизгивала по-собачьи, словно радуясь солнцу.

В третьем сарае мы передали из рук в руки свой груз двум девушкам, укладывающим кирпичи в штабеля способом «сикось-накось». Они всюду веселились и задирали нас шутками. Но Сашка держался невозмутимо и пояснил мне: «Смех без причины — признак дурачины». Когда девушки наклонялись, устанавливая кирпичи, юбки туго натягивались, и было видно, что ноги у них загорели только по колени. Кофты лежали на штабелях. Девушки работали налегке, и только лифчики прикрывали полные груди.

— Смотри кум-мары загрызут, — крикнул веснушчатой хохотушке Сашка, после чего с грохотом пустился наутек, толкая опорожненную вагонетку и увертываясь от подзатыльников погнавшей за ним укладчицы.

Прodelав путь через пять пустых сараев, мы всесторонне обсудили мое положение. Сашка посоветовал, чтобы я сказал механику, будто меня прислали из конторы, тогда без лишних слов он установит вагонетку. По мнению Сашки, если сказать правду, меня просто засмеют. Как друг Сашка помог мне советом, но как человек деловой, с трезвыми взглядами на жизнь заметил, что в такую погоду лучше всего загорать на реке.

* * *

Этажерка, которую мне подвесили, была скрипучей и ржавой, но мне всегда нравились вещи, которые долго служили людям, испытанные и надежные. Когда я в первый раз толкал свою вагонетку, то в гулких пустых сараях, где меня никто не видел, подпрыгивал и взбрыкивал ногами от переполнявшего восторга. Было что-то непередаваемо приятное в мощном скольжении тяжело нагруженной вагонетки. Я без особых усилий ускорял свой бег — рельсы звенели ровно и утробно. У меня была своя вагонетка! Я чувствовал себя независимым и невероятно сильным человеком. И я недоумевал, зачем люди требуют за работу деньги, когда она сама по себе такое удовольствие.

— Бегаешь? — с ехидцей спросила меня веснушчатая девушка, когда я привез первую порцию кирпича — По посмотрим, как забегаешь завтра.

Обе засмеялись. Они смеялись по любому поводу, а иногда хохотали просто так: посмотрят друг на друга и смеются.

Я подавал им кирпичи и хмурил брови, всем видом показывая, что шуток над собой не потерплю. Подружка

веснушчатой — глазища черные, ресницы в два сантиметра черная коса по-змеиному свернулась на затылке, — подошла ко мне, покачивая бедрами, и уставилась с притворно очарованным видом. Я стоял с кирпичом в руках и ждал подвоха. Напарница выжидаяще замолчала, на губах у нее чуть подрагивала незатухающая улыбка.

— Какой красивый мальчик, — пропела глазастая, и ее конопатая подружка прыснула, — какие синие глазенки, — подружка прыснула сильнее, — дай померить очки? — подружка рассыпалась мелким смешком.

Глазастая протянула мне руку и, жеманно встряхнув кирпич, за который я уцепился, как утопающий за соломинку, представилась:

— Жанна. А тебя как зовут?

— Коля, — сердито соврал я.

— Расшифруй «Коля».

— Как — расшифруй?

— Так: корова отелилась летом...

— А «я»? — дернул меня черт за язык.

— А ты — зимой.

Конопатая просто взорвалась смехом. Обессилев от хохота, она села на землю и дрыгала ногами. Моя мучительница делала томные глаза, пытаясь смутить и переглядеть меня. «Бросить ей на ногу кирпич, что ли?» — подумал я. — Наверное, будь я чуть постарше, корчила бы из себя скромницу. Жалко не моя сестра, я бы ее быстро переноспитал».

— Кирпич-то возьмешь? — буркнул я.

Она небрежно выхватила из моих рук кирпич и плавно не глядя, передала его своей напарнице. Вид кирпича вверх конопатую в новый приступ смеха.

— У тебя усы растут? — спросила Жанна таким тоном, словно это было великой тайной, но ей эту тайну можно было доверить.

— А у тебя? — отрезал я.

Вставшая было на ноги хохотушка снова бухнулась на землю. Такое впечатление, будто на огонь плеснули бензин. Я с тревогой подумал, что однажды она кончит тем, что помрет от смеха.

Та, что называлась Жанной, сняла брезентовую голицу и коснулась кончиками пальцев моей верхней губы, словно я был шенком, с которым можно было делать все, что захочешь.

Я хлопнул ее по руке и покатил прочь вагонетку, выбросив на ходу два оставшихся на полке кирпича. Удивил

тельно, но от хохота, поднявшегося за моей спиной со сновые сваи сарая не рухнули.

* * *

Как-то утром седуусый механик стал подвешивать на рельс еще одну вагонетку. Сашка, я и черноусый дядя Коля помогали ему. Но если бы я знал, для кого старался!

Новенький независимо прошагал мимо. Кепку он напялил таким образом, что козырек торчал параллельно носу, и для того, чтобы хоть чуть-чуть ориентироваться в окружающем мире, ему приходилось по-верблюжьи гордо задира́ть голову. Руки его были по локоть засунуты в карманы штанов. Проходя мимо, он цвиркнул мне под ноги сквозь выбитый зуб. Это был Поп и держался он вызывающе. Кулаки мои сжались сами собой, но тут я вспомнил разноцветные стекла разбитых бутылок. Схватись мы с ним сейчас — меня снова выгонят с работы, а я и так на нелегальном положении. Но Поп явно считал себя победителем, а это было невыносимо оскорбительно. К тому же присутствие врага принижало сбывшуюся мечту и омрачало счастье обладания звонкоголосой вагонеткой. Ничего себе — брат по классу...

Восемь мальчишек стояли друг за другом, каждый у своей этажерки. На девятую, самую первую в очереди, а она висела как раз перед моей вагонеткой, механик указал Попу. Прекрасно, подумал я, нагоню его в пустом сарае — там и поговорим. Я намекнул ему, чтобы он не особенно спешил, когда будет возвращаться порожняком.

Нагружая вагонетку, Поп жутко ломался. Небрежно шлепал он на полки кирпичи — вкривь и вкось, то и дело цвиркая сквозь зубы на пол, преимущественно в мою сторону. Как только мог, он показывал, что я для него просто не существую. Отчалил он не рысцой, как все, а словно собираясь на прогулку: насвистывая, не спеша, с достоинством вихляя тошей попкой.

Очень медленно на этот раз черноусый нарезал кирпичи

Когда, наконец-то, я толкнул вагонетку и рельс пронзительно зазвенел, сердце мое мстительно и нетерпеливо kloкотало: вперед, в погоню!

Я мчался, как скорый поезд, но в третьем разгрузочном складе я увидел лишь спину Попа. На этот раз я был непробиваем для шуточек и так быстро швырял укладчицам кирпичи, что им пришлось сложить их на землю, а уж

потом, когда я, как выстреленный из ружья, вылетел вон из сарая, укладывать в штабеля.

Я бежал изо всех сил и, наверно, установил мировой рекорд в беге с однорельсовой вагонеткой по замкнутой кривой, но нагнал Попа лишь в тот момент, когда он нагружался кирпичом.

Я ждал своей очереди, мрачно насвистывая, притоптывал ногой и старался не смотреть в его сторону. Так, возможно, ведет себя браконьер в заповеднике, когда перед носом видит зайца, а рядом — охотинспектора.

С каждым новым кругом я наращивал темпы, преследуя своего врага, Поп уходил от меня черепашным шагом, но был загадочно неуловим. И тогда я понял, что только в поле моего зрения он демонстративно вышагивает вразвалочку, а по пустым складам несется сломя голову. Отчего же, если не так, он дышит, как загнанная лошадь?

Наша погоня передавалась по цепочке. И все закружили со своими вагонетками по кругу, как на карусели. С бедных девушек-укладчиц градом катил пот. Они уже не смеялись, а напротив — ворчали и шипели на нас, как гусыни. Дядя Коля рокотал:

— Чего это вы, ребята, нонче носитесь, как угорелые? Перекурить некогда.

Наша вражда с Попом, оказывается, до невозможной степени повысила производительность труда. До обеда кирпичный завод выполнил дневную норму.

* * *

В разгаре рабочего дня, занятый погоней, я торопливо нагружал вагонетку, как вдруг дядя Коля пророкотал, обращаясь к кому-то, кто стоял за моей спиной:

— Приветствую, Александр Иванович!

Я оглянулся, и меня прошиб холодный пот. В двух шагах от меня стоял отец. На нем был отглаженный костюм и соломенная шляпа. Стекла очков освещивали чисто и холодно. Выпавший из рук кирпич больно стукнул меня по ноге.

— Шевелись, милай! — крикнул дядя Коля, вошедший в азарт работы.

Сразу ставшими неуклюжими пальцами я неловко подхватил свежесрезанную дольку глины, ожидая, что вот-вот грянет громом отцовское: «Марш домой!», потому что отражение сверкнувшей молнии я уже видел в стеклах его очков.

Прощальной печалью зазвенела моя вагонетка, когда я побрел не спеша по знакомому маршруту. Отец ничего мне не сказал. Он просто не мог взять меня за руку и отвести домой, размышлял я, потому что в этом случае сорвалась бы работа завода: вагонетку нужно было бы снимать, чтобы она не мешала другим мальчишкам, а для этого требуется немало времени. Но что меня ждет дома?

...Выкупавшись после работы в реке, мы с Сашкой шли домой. Мышцы у меня самопроизвольно вздрагивали, спина сладко ныла. Что бы со мной ни случилось, в какой бы переплет я ни попадал, обязательно в этом был замешан Поп. Ни у кого нет такого врага, только этому никто не позавидует. Тощий, как чертенок, Поп, казалось мне, был специально рожден на свет с единственной целью устраивать для меня всякие пакости. Но я ему еще задам трепку, тем более, что теперь мне терять нечего.

— З-задаст тебе батя,— словно откликаясь на мои мысли, уверенно сказал Сашка. В голосе друга мне послышалась зависть.

— А все из-за этого Попенка,— мрачно ответил я.

— Не трогай ты-ты его,— перебил меня неожиданно Сашка,— и так па-ацана шугают, кому ни лень.

— Мало, значит, шугают,— сделал я вывод из слов непрошеного адвоката.

* * *

Отец сидел на скамейке под тополем. Это дерево мы посадили вместе с ним, когда я пошел в первый класс. Тогда это был прутик чуть выше меня, а за пять лет тополь вымахал до конька крыши. Листья у него широкие, как отцовская ладонь. Он вегетативно размножался: полукольцом вокруг скамейки торчали новые гибкие прутики.

Я поднял со скамейки сложенную вчетверо «Правду», сел рядом с отцом и развернул газету. Оба мы были в курсе дела, вдаваться в подробности не имело смысла, и я, нарушитель родительского запрета, терпеливо ожидал приговора, делая вид, что увлечен передовой статьей.

Передовая кончилась, молчание затягивалось. Поправив без надобности очки на носу, я развернул газету. На обих полосах разворота был напечатан доклад. Размеры его меня смутили, но я решительно углубился в чтение. Отец зашуршал пачкой папирос, чиркнул спичкой. Я чувствовал, что он смотрит на меня.

— Что-то дождя давно нет,— озабоченно сказал я, сворачивая газету.

Отец хмыкнул. Наконец заговорил:

— Ну, как работа?

— Помаленьку,— не очень бодрым голосом скромно поддержал я разговор.

— Я договорился, чтобы тебя приняли временным рабочим на кирпичный завод,— сказал отец.

Чего не ожидал — того не ожидал. В приливе благодарности я хотел пожать отцу руку, но обжегся о папироску. Боль охладила мою радость.

— А с мамой ты договорился?

— С мамой мы договоримся вместе с тобой. Кстати,— между бровями у отца появилась складка, и он кашлянул, как бы переключаясь на другой тон,— что за разбой ты учинил на прежней работе. Драка, разбитые бутылки...

Вот тебе и на! Я-то думал, что все быльем поросло. Наябедничали.

— Ты взрослый, рабочий человек,— с логическим ударением на слове «рабочий» спокойно произнес отец,— так веди же себя с достоинством. Ты, кстати, знаешь, что отец Попова, с которым ты подрался, был тяжело ранен на фронте и остался без ног?

Он сделал долгую паузу, словно давая время поразмыслить, для чего рассказал об отце Попа.

— Неужели тебе, как маленькому, читать нотации?

«Как маленькому» отец тоже выделил логическим ударением.

* * *

День за днем звенит моя вагонетка — маленький трамвайчик, подвешенный вверх колесами на единственном рельсе. Если светит солнце, я стараюсь быстрее пробежать длинные прохладные сараи, эти воробьиные базары, в нескончаемом гвалте которых перемешаны звуки драк, нежного чириканья и голодного писка, щебетанья в свое удовольствие, фыркканья крыльев. Зато под открытым небом иду не спеша. В слепой дождь, напротив, задерживаюсь в сухом сарае, а вылетаю из него, как воробей из застрехи, чтобы юркнуть в следующий. В прошлые каникулы, когда я днями валялся на реке, кожа на моей спине дважды облазила клочьями, как береста на березе. А в это лето, как бы ни пекло солнце, жаркие лучи его чередуются на

моем маршруте с прохладной тенью сараев, и загар у меня ровный, словно корочка пропеченного хлеба.

Так я и бегаю по кольцу, на котором две остановки. На первой в мой перевернутый трамвайчик чинно рассаживается пассажир — Кирпич-сырец. Вторая остановка, на которой он сходит, отодвигается все дальше. Мы заполнили ровными штабелями уже четыре склада. В этих складах он просушивается перед обжигом.

Иногда я думаю, что будут строить из нашего кирпича?

Отец говорит, что скоро выше по течению Ишим переродят плотиной. У нас будет свое море, а рядом с ним вырастет город. Однажды я пройду по его улицам, буду задирать голову, чтобы посмотреть на крыши многоэтажных домов. А с балконов на меня будут смотреть люди. И никто из них не будет знать, что живут в домах, построенных из кирпича, который мы в это лето перевозим на своих маленьких вагонетках.

* * *

Утром, собирая меня на работу, мама укладывает в мой портфель бутылку молока, заткнутую пробкой из скрученной газеты, полбулки хлеба, тугие, едва начавшие краснеть помидоры. В обед мы с Сашкой идем к Камню, быстренько съедаем все это и с полчаса купаемся. Сашка предпочитает степенно лежать на спине, выпятив из воды живот с торчащим, как затычка в надувной игрушке, пупком. Он не любит плавать вперегонки. Его трудно расшевелить, если в занятии нет практического смысла. Другое дело — ловить налимов.

Мы ныряем и обшупываем руками камни в поисках налиминых нор. Просунешь в щель между камнями руку по локоть и чувствуешь холодное змеиное тело налима. Только его так сразу из норы не достать. Во-первых, воздуха не хватает надолго, во-вторых, уж больно скользкая это рыба. Целую неделю мы безрезультатно переворачивали камни: налимы уходили из наших рук. Но однажды, когда я загорал на Камне и посмеивался над моим другом, убеждая его, что всю реку замутить все равно не удастся, Сашке удалось схватить налима за жабры. Он вытащил на берег такого жирного речного поросенка килограммов пять весом. Вид у Сашки при этом был хмурый и невозмутимый. Молча он насадил налима на кулан из тальникового прута и буркнул мне:

— Чо п-прыгаешь? Н-налима не видел?

До конца работы налим плавал в пожарной бочке, пугаясь грохота глиномешалки, звона вагонеток и многочисленных рук, то и дело касающихся его скользкой спины.

— Б-бери его себе, — сказал Сашка, когда мы собирались домой, — мы с бабкой все равно не съедим з-за раз П-протухнет.

И я пригласил Сашку на ужин.

...Нам досталась жареная налимом печень. Ничего ни когда не ел вкуснее.

Эта семейная трапеза должна была окончательно изменить мнение мамы о моем друге. И пока Сашка чопорно расправлялся со своей порцией, время от времени пихая меня под столом ногой, я рассказывал о том, как ловко на двухметровой глубине он схватил налима за жабры, как предложил механику заменить вагонетки транспортером, на что механик ответил: «Башка у тебя кумскает», как догадался смазать колесики вагонетки мазутом, отчего она не гремела.

И вдруг мама спросила.

— Скажи, Саша, а ты куришь?

Сашка поперхнулся. От такой бестактности меня с ног до головы окатило горячей волной стыда. И я, и Сашка очень хорошо поняли, что имеет в виду мама. Сашка был настолько самостоятельной, определившейся личностью, что ему не было нужды утверждаться таким банальным способом, как курение. Но дело-то не в этом. Пусть бы он даже курил, но зачем именно сейчас говорить об этом Семейное застолье, которое для нас было просто ужином для него еще и воспоминания о том, что никогда не возвратится. Зачем именно в эти минуты подчеркивать, что он — мальчишка с улицы, беспризорник, с которым опасно водиться мне — маме-киному сынку. Человек от чистоты сердца подарил нам здоровенную рыбку, а в благодарности его оскорбили необоснованным подозрением.

— Я же тебе сто раз говорил, что не курит! — нарушил я маленькую скверную паузу.

— Не в-ври, к-у-рю! — зло перебил меня Сашка и обращаясь к отцу, попросил:

— Р-разрешите па-апируху!

Отец внимательно посмотрел на него и протянул пачку «Беломорканала» с коробкой спичек, лежащей сверху. Сашка прикурил прямо за столом. Он глубоко затянулся и закашлялся.

На глазах у него выступили слезы, но я думаю не только от дыма. Он прокашлялся и хмуро сказал:

— П-пойду, а то б-бабка волнуется

Я вышел следом за Сашкой. В незанавешенное окно с улицы было видно, как отец что-то говорил маме. Вид у мамы был как у упрямой школьницы

Я шел рядом с Сашкой по вечерней улице и думал по какому праву мама вмешивается в мою личную жизнь, решает за меня, кого выбирать в друзья, чем заниматься на каникулах. Понятно: я-ее сын, но ведь сын — тоже живое существо. О чем думал Сашка, я не знаю. Но будь я на его месте, то сказал бы своему другу «Катись-ка ты от меня к своей мамочке»

— И без родителей плохо,— вздохнул я,— и с ними тяжело

— Тебе хорошо. Теб-бя не лупят,— ответил Сашка

— А тебя-то кто лупит?

— М-мамка лу-упцевала. Полотенцем,— мечтательно и грустно сказал Сашка. Он вдруг остановился и сердито буркнул

— Л-ладно, топай!

Но когда я повернулся и пошел назад, он окликнул меня и протянул ладонь. Жест этот был для меня неожиданным и этот вечер мы впервые пожали друг другу руки

Подумаешь, пожали руки. Но это первое рукопожатие я запомнил на всю жизнь

* * *

В воскресное утро к нашему дому подкатила полуторка. В кузове сидели ягодники. Мы встретили их с ведрами наготове

— Ну, уся вишня ваша, Александр Иванович!— почти тельно пошутил тощий и маленький, как высушенный чебак, шофер, открывая дверцу.— Прошу в кабину

Я увидел в кузове старушку, с любопытством разглядывающую нас, и меня покорило от мысли, что шофер древнюю, немощную бабку заставил карабкаться на верхохотуру, оберегая место для человека, которому нет еще и сорока лет. Настроение у меня испортилось

Отец посадил в кабину маму. Мы полезли в кузов. Мне расхотелось сидеть рядом с отцом и я вскарабкался с противоположного борта. Сидящие на скамейке потеснились, я сел на освободившееся место, и вдруг как на качелях у меня захватило дух. Рядом со мной сидела Ася. Недавно выстиранное ситцевое платьице отдавало свежестью. Когда машину подбрасывало на неровной земляной дороге, мои

локоть касался Асиной руки. Рука была холодная руса-
лочья.

Ветер трепал волосы. Он освежал, как речная вода. Только выехали из села в поле, женщины запели. Хорошо, когда много женщин едут на открытой машине и поют. В многоголосом хоре я различал Асин голос. Словно пел ветерок. Когда люди поют, они делаются красивее и добрее. Я смотрел на белые облака. Они были похожи на гривастых коней, которые разбрелись по синему полю.

Я слушал Асю и думал: не окажись мы с Муратом в тот день у Камня, и я бы никогда не узнал, какой у нее красивый голос. Когда о чем-то вспоминаешь, события кажутся намного значительнее и ярче, словно читаешь книгу. Я скосил глаза и посмотрел на Асю. В профиль она была очень похожа на Жанну. Мысль, которая пришла мне в голову, поразила, как внезапное открытие. Я подумал, что Ася — тоже женщина, только маленькая, с косичками. Но только я об этом подумал, она вдруг стала непонятной и загадочной. Женщины — вообще обидная тайна.

...В один из дней лил дождь, и мы с Сашкой не пошли, как обычно, на Камень. Расставили еду на полке моей вагонетки и обедали в сарае. Дождь звучал так, словно рядом жарили рыбу. Я сказал, что никогда еще у меня не было таких интересных каникул.

— А ч-чего хорошего, — буркнул по своему обыкновению Сашка, — бегаешь, ка-ак слепая лошадь по кругу.

Ни разу не чувствовал я себя слепой лошадей. Наоборот за день мне хотелось пробежать как можно больше таких кругов.

Каждый круг — встреча с Жанной. С той минуты, когда она коснулась шершавыми пальцами моей верхней губы, начались ворожба и колдовство. Одно присутствие этой насмешницы злило меня, но день, когда она не вышла на работу, был очень скучным днем. Я спросил Сашку: как он думает: Жанна красивая?

— Так себе. В-вертихвостка.

Как бы подтверждая справедливость Сашкиных слов, мокрые и босые в сарай вбежали Жанна и Амбал. Амбал встряхнул густой гривой, как молодой конь. На его античном торсе свежо поблескивали капли дождя. Закатанные по колени брюки прилипли к ногам. Не обращая на нас внимания, они стали приводить себя в порядок. Амбал осторожно отжал Жаннину косу, потом они с двух сторон выкручивали ее кофточку. Когда дело дошло до юбки, Жанна отказалась от помощи Амбала, самостоятельно прогла-

дила ее руками на бедрах и слегка отжала подол. Тогда он стал удирать от Жанны с мокрой кофточкой в руках, которую он держал, словно тореро красный плащ. С визгом и хохотом они бегали вокруг нашей вагонетки, задевая меня и Сашку мокрыми телами, а я мрачно жевал огурец и запивал его молоком, не чувствуя вкуса еды.

...Каждый вечер я приходил в старый поповский сад. Его железная ограда проходила над речным обрывом, словно частоколом копий преграждая одичавшим кленам и акациям путь к воде. Рядом с бывшей церковью, которая, сколько я себя помню, всегда была Домом культуры, в полукольце черемух и яблонь-дичек стояла круглая клетка танцплощадки. Осенью, когда нигде не найдешь сухой поляны, мы гоняли на ее гладких досках футбольный мяч. А в это лето я смотрел сквозь ее решетки, как, словно в весеннем водовороте, кружатся подхваченные ветром музыки парни и девушки. Кружились улыбки, юбки, прически, волнующие слова, разноцветные рубашки... И с каждым вечером я чувствовал, как ласково и чарующе затягивает меня этот водоворот, таинственный смысл этого кружения. Невидимый в тени ветвей, я смотрел на странно преображавшуюся в этом вихре музыки Жанну. И когда плечистые парни, издали улыбаясь, спешили пригласить ее на танец, я мечтал только об одном: стать на пять минут таким же рослым и плечистым, всего на один танец. Как это должно быть хорошо: взять Жанну за руку, вывести на середину круга и закружиться вместе с ней по скрипучему деревянному настилу.

И я кружился. В сарае. С березовым поленом.

* * *

Пока женщины пели, а я предавался воспоминаниям, машина подкатила к березовому колку, вокруг которого рос дикий вишарник. Он выглядел маленьким беззащитным островком в безбрежном пшеничном поле. Крайние березы и кусты вишни высохли, потому что корни их были повреждены плугом.

Вместе с нами приехала городская семья. Я с ужасом смотрел, как жадно эти люди набросились на даровую вишню. Они срывали ее с листьями, а особенно густо усеянные ягодами ветки ломали в большие банные веники. Наши деревенские женщины привязывают ведра платками к поясам и собирают вишню двумя руками быстро и красиво,

словно нанизывают бусинки на нитку. Толстая городская тетка, без разбора срывающая и зеленую, и красную вишню ломающая кустарник, казалась рядом с ними жирной свиньей. Она еще больше походила на это несимпатичное животное оттого, что то и дело запихивала горстями в рот ягоду и громко чавкала. Глаза ее ненасытно бегали по вишарнику, словно тетка боялась, что не успеет переломать все кусты. Я не выдержал и сказал

— Вы бы еще, тетенька, косу прихватили.

— Я вот тебе уши сейчас оборву,— завизжала она,— маленский еще меня учить!

— Вам бы их кто оборвал,— ответил я ей.

— Как разговаривашь со старшими?!— напустился на меня теткин муж, который был раза в два толще своей супруги.

Тетка завершала, как пластинка, поставленная не на ту скорость, обзывая меня деревенщиной, молокососом и бандитом. Все стали меня воспитывать. Больше всех, конечно, мама. В общем, я понял одно: взрослый человек может делать все что угодно и всегда будет прав.

Я взял свой бидончик и пошел по полевой дороге в другой лес. Пусть эти высококультурные толстяки хоть на четвереньки становятся, пусть весь вишарник до самых корней сжуют, но смотреть на это я не обязан.

На полдороге меня догнала Ася. Со мной она увязалась как я понял, из солидарности: уж больно вызывающе громко звенело ее ведро.

На окраине колка, к которому мы подошли, рос чахлый и редкий вишарник. Ягодников он не обольщал поэтому машины проезжали мимо не останавливаясь. Но когда мы вошли в глубь леса, то так и ахнули. Нам открылась большая поляна окруженная густым березовым молодняком. В центре сумрачным стожком зеленели кусты боярышника — настоящее сорочье общество. Чуть в стороне одиноко росла старая разлапистая береза с потрескавшейся черной корой. Всю остальную площадь поляны занимала дикая вишня в мой рост. Крупные спелые ягоды — чуть сдавишь пальцами, так и брызнет сок!— никем еще не тронутые настороженно смотрели на нас из-под зеленых листьев. Они так обильно усеяли кусты, что трудно было поверить собственным глазам.

— Надо наших позвать,— сказала Ася.

— Да ну их!

Мне не жалко было поделиться ничейной вишней, но я представлял, что натворит здесь толстая тетка.

Ася, как и все наши женщины, собирала вишню двумя руками. Спелый град зазвенел по днищу ее ведра. Мне не хотелось собирать влажные от росы ягоды. Мне хотелось смотреть, как собирает ягоду Ася. Она это делала серьезно, почти автоматически, словно доила корову. А вы знаете, как красиво доят коров женщины. Что бы они ни делали, все у них получается красиво. Свежий от ночного спокойного сна, залитый утренним светом лес тихо дышал. Я бросал по яголке в бидончик и думал о том, как хорошо подарить человеку жизнь. Я думал о том, какие счастливые люди врачи. Спасти человека — это значит подарить ему и дом, в котором он живет, и друзей, и вот этот лес, и солнце.

Ася между тем забралась в самую гущу вишарника. Платье у нее было такой же белизны, как береста на березках. Когда она задерживалась у какого-нибудь щедро усеянного ягодами куста, я терял ее из виду. И вдруг она испуганно вскрикнула. Я побежал, лавируя между кустов, к ней. Мы столкнулись мокрые от росы.

— Уйдем отсюда, там волчья нора! — выпатила она.

Желание выглядеть в ее глазах храбрым человеком вытеснило из головы мудрый совет отца не лезть без особой надобности в воронку. На слабых от страха ногах, но с решительным видом я пошел туда, куда показала рукой Ася.

Действительно, под старой березой чернела нора. Но я сразу увидел, что в ней уже давно никто не живет, потому что вход был перегороден тонкой паутиной. Представился случай, ничем не рискуя, заслужить репутацию смелого человека. И я им воспользовался. Опустившись на колени, я сорвал рукой паутину и полез в нору. Ася завизжала и, схватив меня на ногу, вытащила из сырой и темной дыры, как штопором вытаскивают пробку из горлышка бутылки.

— Эх, ты, трусиха, — покровительственно сказал я, отряхивая землю с колен. — Нет там никого, кроме паука.

Ася отшатнулась: пауков она боялась еще сильнее, чем волков.

— Хвастун!

Во время панического бегства Ася уронила ведро и рассыпала вишню. Я принес свой бидончик и хотел поделиться с ней, но она отстранила ведро — и ягоды посыпались на землю.

— Обойдусь и без твоей зелени!

Ася злилась, потому что испугалась. Испугалась за меня. Во всей этой истории с волчьей норой она выглядела намного смелее меня. Я-то знал, что нора несобитаема, а она, когда вытаскивала меня из нее, не знала об этом.

— Ась, хочешь, я научу тебя плавать?— примирительным тоном спросил я ее.

— Что ты раззадавался?— вспыхнула она.— Герой какой! Ты думаешь, я вправду тонула? Да я лучше тебя плаваю! Если хочешь знать, я вас с Муратом разыграла. Спаситель нашелся...

Я почувствовал себя так, словно смотрел красивый сказочный фильм, но в том месте, когда лягушка превращается в царевну, кто-то крикнул: враки все это! Мне захотелось дернуть Асю за косу.

— А ты знаешь, кто срубил ваше дерево?— выпалил я и осекся: большие карие глаза с настороженной враждебностью смотрели на меня. Я понял, что ляпнул лишнее, но отступать было поздно.

— Я срубил твое дерево!

— Какой ты противный,— растягивая слова, сказала Ася.— Тоже мне — защитник природы. Лицемер!

Повернулась и ушла, позванивая пустым ведром.

* * *

Так бываст: только найдешь друга — и тут же его теряешь.

Случается, что всю жизнь считаешь человека своим врагом, но вдруг — в один день, в один час, в одну секунду — он становится твоим другом.

Если бы мне кто-нибудь сказал, что сегодня ровно в пятнадцать часов двадцать три минуты по местному времени некий Попов, известный под кличкой Поп, мой заклятый враг, станет моим другом, вы думаете, я бы поверил? При одном только имени этого человека в ушах стоял сплошной звон разбиваемых бутылок и велосипедов

...Вот что произошло.

Не вышли на работу мужики, нагружавшие в карьере вагонетку. Дядя Коля за глаза обругал их «бичами» и сказал, что завод из-за них останавливать нельзя. Заказчик ждет кирпич. Не можем же мы обмануть этого самого заказчика. Решено было направить в карьер трех самых крепких и жилистых пацанов и потихоньку производить кирпич. Выбрали нас с Сашкой. Третьим был Поп.

Работали мы молча. Сашка вообще был неразговорчив а с Попом нам не о чем было беседовать. Мы с ним постоянно находились в состоянии холодной войны. И если до открытых стычек дело не доходило, то лишь благодаря дипломатическим усилиям со стороны уважаемых мною людей — отца и Сашки.

До обеда нагрузили три вагонетки. В обеденный перерыв хлынул короткий, но обильный дождь. Глина стала вязкой и тяжелой. Мои кеды, которые я изрядно истоптал, скользили по ней, словно лысые шины у буксующей машины. Воткнешь в это месиво лопату и отрываешь кусок, будто зацепив земной шар, пытаешься его приподнять, перегибая черенок через колено. Пока нагрузили вагонетку, устали, словно все время плыли против течения. Глина налипала на лопаты, на ноги, непонятным образом попадала за ворот рубахи. Все это ужасно нервировало. Я поссорился не только с Попом, но и с Сашкой. «Что ты в-ворчишь?— хмыкнул он.— Ш-шебуршишься, ка-ак петух, которого в нос ш-шелкнули».

Как бы то ни было, вагонетка была наполнена. Мы оскребли о ее борта лопаты, и Сашка махнул рукой Амбалу крути лебедку! Тяжелая от раскисшей глины вагонетка медленно поднималась вверх.

Когда оборвался трос, я стоял опершись на лопату как раз там, где, уткнувшись в невысокий холмик, кончались рельсы.

— Б... б... б,— пытался что-то крикнуть Сашка и от волнения не мог.

Я оглянулся на грохот. Сверху вниз ко мне стремительно приближался разъяренный железный бык. Сознанием я ясно понимал, что нужно отбежать в сторону, но тело заморозил сковал страх. Я стоял и смотрел на вагонетку, как смотрит наверное, кролик на удава.

И вот в эту-то секунду человек, которого я считал своим злейшим врагом, вором и трусом, бросился из безопасного места в смертельно опасную зону и вытолкнул меня, уже наполовину мертвого от страха, из-под самых колес вагонетки.

Я плюхнулся на четыре конечности в лужу, скопившуюся от дождей на дне котлована. Вагонетка споткнувшись о холмик, тяжело вертанулась, разбрасывая во все стороны комья глины, грузно шлепнулась набок и пошла-поехала утюжить и пахать глину, стирая следы моих кед и сандалий Попа.

— Эй, пацаны! Никого не задело?— громко и резко крикнул сверху Амбал, когда вагонетка, врезавшись в склон карьера, остановилась.

— Чтoб у тебя шары повылазили!— заорал на него Сашка, ни разу не заикнувшись.— Чуть человека не убил, чучело!

Как бы в стороне от всей этой суматохи весь перепачканный глиной сидел на земле Поп. Он морщился и покачивал, словно баюкая, ногу.

Возле перевернутой вагонетки собрался весь коллектив нашего заводика. Дядя Коля дергал Попа за ступню, пытаясь вправить вывихнутый сустав, и ругал себя за то, что послал нас в карьер. Сашка, размахивая руками, рассказывал, как все произошло. Отец Амбала недоуменно хмыкал, разглядывая обрывок троса. Мальчишки наперебой обсуждали события. Я стоял в мокрой и грязной одежде. Меня знобило, но в то же время я чувствовал такое облегчение, которое испытываешь, проснувшись от ночного падения в пропасть. Краски и звуки этого дня стали чистыми и по-утреннему свежими.

— Не ушибся?— спросил меня дядя Коля. Он сидел на корточках рядом с Попом и разминал папиросу. Руки у него тряслись — из папиросы сыпался табак.

— Вот, брат, какое дело, повезло тебе с дружкой. С этого часа за счет его живешь. Запомни этот час,— дядя Коля посмотрел на часы и сказал:— Пятнадцать часов двадцать три минуты.

Нога у Попа распухла. Мы, мальчишки-вагонетчики, решили нести его в больницу по очереди, на спинах.

...Несмотря на свою худобу, Поп был довольно тяжелым, костистым. Я тащил его на спине и думал, почему я считал этого мальчишку своим врагом? Если бы это на самом деле было так, стал бы он сегодня рисковать из-за меня жизнью? Я искал и не находил ответа.

* * *

Денег, которые я заработал на кирпичном заводе, как раз хватило бы на взрослый велосипед. Я вышел из конторы, сжимая их в руках, и подумал так: имею ли я право распорядиться своими честно заработанными деньгами? Тем более, что сегодня у меня день рождения. Тринадцать лет — середина жизни... Пока я размышлял, взвешивая все «за» и «против», ноги принесли меня в промтоварный магазин. Я увидел велосипед, и сомнения оставили меня.

Час спустя я катил по улице на новеньком велосипеде. Лучами двух маленьких солнц ослепительно сияли спицы, белый алюминиевый насос, прикрепленный к раме, сверкал парадной генеральской саблей. Я носился по переулкам на ходу срывая яблоки-дички в чужих палисадниках. Куры и гуси врассыпную разбегались передо мной. Собаки в восторге, стихийно организуясь в стаи, азартно преследовали меня. Мальчишки с завистью кричали вслед: «Крути педали, пока не дали!» Волосы мои спутал ветер, который не тревожил пешеходов. Накрапывал слепой с отблеском солнца в каждой капле дождь. Его меткие брызги мелодично разбивались о велосипедный звонок.

Вот так я мчался на своей двухколесной мечте, когда увидел идущего навстречу отца. Соломенная шляпа сбита на ухо, костюм расстегнут, лицо потное и веселое, правой рукой держит за крутые бараньи рога обернутый промасленной бумагой велосипед — подарок на мой день рождения...

Итак, я оказался владельцем двух велосипедов. По этому поводу состоялся семейный совет.

Первым говорил отец и отнесся он к моему положению несерьезно. Назвал меня Рокфеллером, предложил один из велосипедов разобрать на запчасти.

— Два велосипеда — это роскошь — строго заметила мама.

— У нас работает дядя Филя, он крив на один глаз. Так вот, этот дядя Филя тоже говорит: «Два глаза — роскошь» — гнул свою линию настроенный повеселиться отец.

— Как ты думаешь, Ваня, а не подарить ли нам один велосипед Саше?

Это сказала мама. Правильнее решения просто не существовало. Хотя, конечно, проблему можно было решить проще: вернуть велосипед в магазин. Но ни отец, ни мама этот вариант почему-то не предложили. Промолчал об этом и я.

Загвоздка была в одном: примет ли такой подарок Сашка? Он человек гордый. Но почему бы и нет? Велосипед мой. А с Сашкой мы друзья.

* * *

Вечером того же дня ко мне пришел Поп и принес за пазухой моего голубя.

Я взял птицу в руки и увидел в ее маленьких взрослых глазах свое отражение. Ладонями я чувствовал, как под

перьями бешено стучит голубиное сердце. С тоскливой озабоченностью я подумал, что сизый не узнает, наверное, меня, что и новой стае у него появились новые друзья, а голубиный Попа стала для него родным домом. Если бы это было не так, если бы он скучал по мне, по крыше нашего дома, по своим старым крылатым товарищам, то давно бы прилетел назад. Это, конечно, обидно, но почему я должен решать за него его судьбу. Он ведь не велосипед, а живое существо. Птица имеет такое же право, как и человек, выбирать себе друзей.

И я подбросил голубя вверх

— Зачем?— спросил Поп

— Пусть летит

— Он полетит ко мне.

— Это его дело,— сказал я и спросил — Слушай, как тебя зовут?

— Как — «как»? Поп, — с недоумением ответил он

— Нет, по-настоящему.

Поп солидно кашлянул и представился официально

— Алексей.

— Иван, — так же солидно представился я. У меня ведь тоже было прозвище. Очкарик.

Вот такие события произошли в день моего рождения в день, когда я повзрослел сразу на один год.

В этот день я думал о жизни. То есть, точнее сказать я думал об отце, маме, Сашке, Асе, о моем враге Попе и товарище Лешке, о себе. Мне кажется, что думать о жизни — это думать о том, почему люди становятся врагами и друзьями. И знаете, что мне пришло в голову? Очень мало рядом со мной людей, которые могут стать для меня не переменнo либо врагами, либо друзьями. Большинство из них могут стать и врагами, и друзьями в зависимости от того, как я сам к ним отношусь. А что значит правильно относиться к человеку. Это значит хорошо его знать. Я же часто отношусь к людям не по тому, что они представляют собой на самом деле, а по тому, кем они кажутся или что о них думают другие. Это нечестно. Нет ничего обиднее, когда, например, к тебе относятся снисходительно и по-всерьез лишь потому, что ты носишь очки.

Говорят: хороший человек. А почему он хороший? Потому что рядом с ним жили хорошие люди. Так ведь? К людям нужно относиться хорошо, то есть правильно. Отец не зря говорил о том, что Лешкин отец вернулся с фронта без ног. Я представил, кем бы был я, если бы это случилось с моим отцом. Это прежде всего зависело бы от того, кто бы

человеком стал бы после ранения отец. Все так устроено, что кем станет человек, зависит от того, как к нему относятся другие люди. И если, не разобравшись, бросаться на людей с кулаками, что ты этим добьешься? Ты добьешься того, что однажды окажешься в дурацком положении.

Если у меня будет больше врагов, чем друзей, значит я сам человек не очень хороший.

* * *

— Слушай, почему на тебя Аська дуется? — спрашивает меня Сашка.

— Узнала, что я их дерево спилил.

— Ври больше! — пугается он. — От кого она могла узнать?

— От меня.

— Т-твоим языком — улицу подметать.

Мы сидим у затухающего костра, разбиваем прутиками рубиновые угли, ждем пока испечется картошка. Ее мы насобирали на совхозном поле. Оно чернело за ближайшим леском, и по нему бродили коровы, взрыхляя копытами мягкую землю и подбирая то, что оставили после себя люди. Наши велосипеды стояли рядом, прислонившись друг к другу, положив рога рулей на сиденья друг другу. Сухие стебли трав оплели спицы. На звонках чуть заметными голубыми пятнами выступила холодная дымка.

Каникулы кончились. Наступила чистая, звонкая пора прощальных футбольных матчей, утренних туманов, клочья которого молочными облаками подолгу хоронились в редких перелесках от степного ветерка.

Осенний грустный ветер, в котором растворились крики диких гусей, ровно шумел где-то в середине леса. Мне нравятся деревья без листьев и пожухлая трава. Может быть, потому, что, когда глядишь на них, вспоминаешь лето — теплые волны реки, красную землянику.

— Ка-ак ты думаешь, п-примутся березы, если их посадить сейчас? — спрашивает Сашка, разламывая горячую картошку.

— Куда посадить?

— В землю, куда же еще. Выкопать в лесу и пересадить в село.

— Зачем?

— За-аладил, куда зачем. — бурчит Сашка и сердито разъясняет. — К Аськиному дому.

Содержание

Нарисуй мне золотое сердце (сказка)	5
-------------------------------------	---

Рассказы

Птица	15
Лешка	16
Зеленый петух	28
Белое на зеленом	37
Древоград	44
Ружье	48
Суслик	53
Геронический Петька	57
Кум	64

Повести

Поросенок в мешке	69
Ломается голос	88
Жил-был красивый зверь	107
Деньги на велосипед	149

Литературно-художественное издание

Для среднего школьного возраста

**Николай Николаевич
ВЕРЕВОЧКИН**

ДРЕВОГРАД

Повести, рассказы

Редактор Е. Кузьмина. Художники Н. Веревошкин.
Е. Кожобаев. Художественный редактор К. Егизбаев.
Технический редактор Р. Винокурова. Корректор Т. Са-
жина

ИБ № 254

Сдано в набор 4.07.94. Подписано в печать 17.11.94. Формат 84х108/32. Бумага
тип № 2 Гарнитура тип Таймс. Печать офсет. Усл.п.л. 14,08. Усл. кр.-отт. 12,02
Уч.-изд.л. 10,61. Тираж 20000 экз. Заказ № 739. Цена договорная.

Издательство «Балауса» Министерства печати и массовой информации Респуб-
лики Казахстан, 480124, г. Алматы, пр.Абав 143

Полиграфкомбинат Министерства печати и массовой информации Республики
Казахстан, 480002, г. Алматы, ул. Махатмаса, 41

2504

KX

